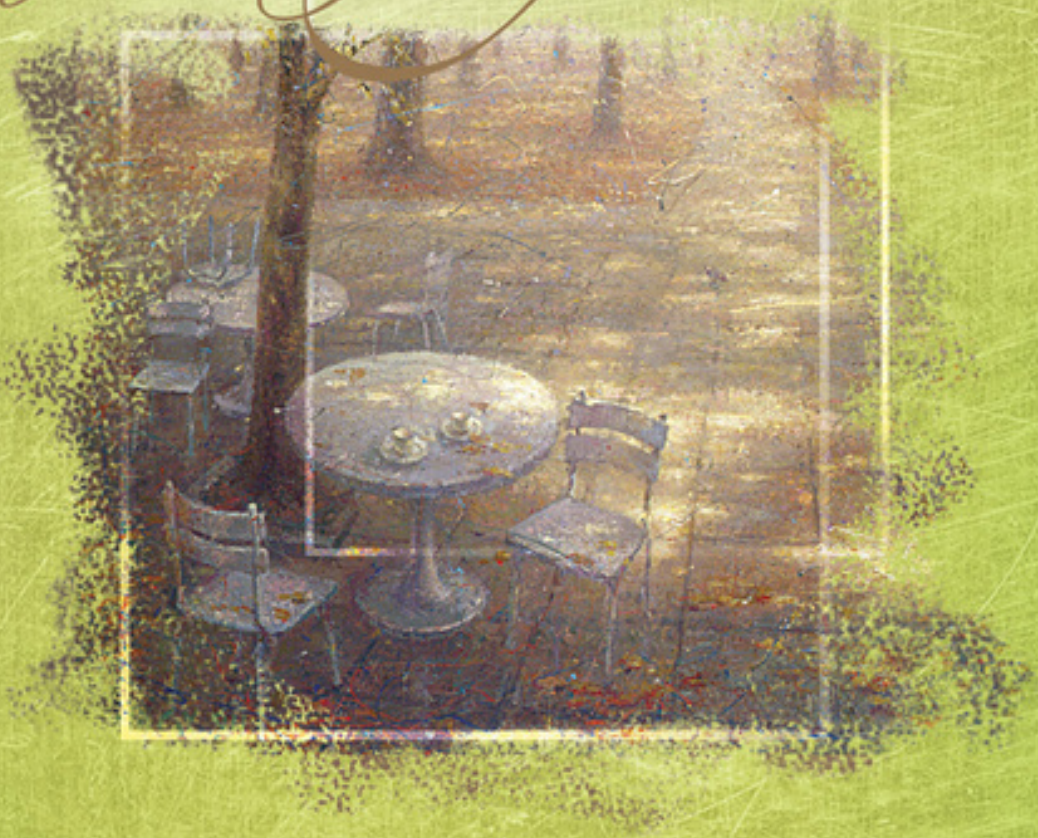
ЛАРИСА РАЙТ

мелодия встреч и разлук



Лариса Райт

Мелодия встреч и разлук

«Эксмо»

2012

Райт Л.

Мелодия встреч и разлук / Л. Райт — «Эксмо», 2012

ISBN 978-5-699-58483-3

Вся жизнь Алисы оказалась чередой встреч и разлук. Нелюбимая дочь, она всю жизнь соперничала со своей успешной сводной сестрой и скиталась по всему миру в поисках самой себя, меняя страны и города, проходя мимо любви и не оставляя места для привязанности. Может быть, пришла пора остановиться и оглянуться, чтобы в ее жизни зазвучала наконец мелодия счастья?

ISBN 978-5-699-58483-3

© Райт Л., 2012
© Эксмо, 2012

Содержание

1	5
2	7
3	11
4	12
5	16
6	21
7	23
8	28
9	30
10	34
11	38
12	40
13	43
14	46
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Лариса Райт
Мелодия встреч и разлук

У прошлого есть запах, вкус и цвет...
Игорь Губерман
Не сущность зрячих глаз нас направляет,
А зависти удел от обделенности участья.
Тасава

1

– Ваше имя...

– По-моему, представляться здесь должны вы.

– Простите, такая форма записи на диктофон.

– ...

– Ваш возраст...

– Какая бестактность!

– Извините, я лишь хотел сказать, что в ваши годы люди обычно ищут развлечений. Знаете, смотрят фильмы ужасов, танцуют рэп, поют в караоке...

– You'll see...

– Что? А... Да. Вот именно. «Something to remember»[1], Мадонна, секреты звезд, глянцевые журналы, шоу-бизнес. Мечты, романтика.

– Думаете, о моей жизни нельзя мечтать?

– Что? Нет, то есть, конечно, да... В общем...

– Или в ней нет романтики?

– Я неправильно выразился.

– Непростительная оплошность для журналиста, тем более для интервьюера!

– Вы меня не так поняли!

– Я поняла именно так, как вы сказали.

– Я лишь имел в виду, что ваша жизнь по сравнению...

– Не надо сравнений!

– Хорошо. И все-таки вы могли бы...

– Не могла бы!

– Но если бы только захотели...

– Я никогда не хотела.

– Никогда не хотели воспользоваться ее именем, помощью, деньгами?

– Уходите!

– Позвольте последний вопрос...

– Уходите!

– И все же, почему вы никогда не говорите о ней?

Больше Алина не выдерживает. Выскакивает из душной палатки под палящее солнце. Вслед пчелиным роем несутся ядовитые вопросы:

– Это правда, что вы не общаетесь? В чем причина такой странной вражды? Не пора ли положить конец затянувшейся ссоре?

[1] Альбом певицы Мадонны, выпущенный в 1995 г., хитом которого стала песня «You'll see» («Ты увидишь»).

Алина резко останавливается. Бегство становится унизительным, нелепым, а с ее хромотой к тому же и абсолютно безнадежным. Обидчик, затормозив в полушаге, не перестает засыпать ее заранее припасенными, меткими, на его взгляд, выстрелами. Пора отделаться от этой назойливой мухи. Алина достает из кармана несколько листов бумаги, исписанных мелким почерком, протягивает журналисту и, не пытаясь скрыть появившуюся в глазах злую насмешку, нарочито любезно произносит:

– Будьте добры, когда окажетесь в Москве, раздобудьте конверт и опустите это в почтовый ящик. Адрес, думаю, найдете без труда. Издержки вашей профессии. Кстати, послание можете прочитать. Рекомендую обратить особое внимание на его заключительную часть. Не пожалеете. Там как раз написано, как я люблю ее и скучаю.

Алина уже доходит обратно до палатки, когда ее настигает очередной «невинный» укус:

– А это правда?

И девушка едва успевает скользнуть в спасительную духоту брезента, где никто не увидит зардевшихся щек, не услышит брани в адрес проницательного журналиста и не станет сочувствовать уже не сдерживаемым злым слезам.

2

Говорят, слезами горю не поможешь. Может быть, рыдания и не решают всех проблем, но то, что они уменьшают их значимость, стало очевидным для Зинаиды давным-давно. Тогда, в каком-то уже теперь нереально далеком, будто и вовсе не существовавшем 1965-м, советское правительство решило пополнить Ракетные войска стратегического назначения тридцать восьмой дивизией, расположить ее в степях Казахстана и откомандировать на неопределенный срок на просторы испытательного полигона нескольких рядовых конструкторов баллистических ракет. Зина слышала, как на кухне мать шептала сдавленным голосом соседке по квартире, что мужа посылают вовсе не для практической или исследовательской работы, не ради обучения военных техническим премудростям обращения с этим оружием, «ну, вы понимаете, каким», а лишь из страха, что опытные физики станут там менее, а может статься, и совершенно недосягаемыми для вездесущих американских шпионов, и не смогут «обменять свои талантливые мозги на жвачки для малолетних детей. Мой же – не какая-нибудь шишка, ни квартиры своей, ни машины, вот и боятся, как бы чего не вышло». С тех пор Зинке иногда снились американские шпионы. Они не носили военной формы и даже не говорили по-английски, они походили на обычных пузатых дяденек из министерств: фетровые шляпы, серые костюмы, «Волга» с оленем. Разведчиков в них выдавало только одно: все, как один, вылезали с задних сидений своих колесниц, держа перед собой ярко-рыжую авоську, из отверстий которой, не переставая, сыпались на мостовую кубики и пластинки в разноцветных фантиках. Зина просыпалась и думала о том, что один из этих таинственных и ужасных американцев мог бы, возможно, просто так подарить папе несколько штук вожделенной резинки, которую она тайком стащила у старшего брата – участника международного фестиваля молодежи и студентов – восемь лет назад. Следующее десятилетие волшебная тянучка встречалась ей только во сне, а наяву мелькала лишь в вошедшем в моду и так сладко щелкающем на зубах выражении: «Мир, дружба, жвачка».

Нет, с отцом они тогда не поехали. Мучительные слезы нелегкого выбора проливались не одну ночь. На одной чаше весов свернулась заманчивым клубочком почти прежняя жизнь втроем (брат к тому времени уже обзавелся семьей), а на другой призывно поблескивало Зинкино будущее.

– Поедем, – говорила мать, просительно заглядывая в усталые глаза отца, – может, это ненадолго? Вернемся, доучится.

– Галя, ты сама не веришь в то, что говоришь. Скрипка – это тебе не литература и даже не физика. Без практики одеревенеют руки, она же не Ойстрах.

– Оставим? Тринадцать, уже не маленькая. В конце концов, может же она пожить и с Валерой.

– У сына того и гляди свое прибавление появится, а условия там не лучше наших: 12 метров и очередь в санузел из двадцати человек.

– Ах, если бы были живы родители...

– Это риторика, Галя. Чему быть, того не миновать. Вам надо остаться.

– Но, возможно, она никогда не станет скрипачкой. Ты ведь знаешь, Зина играет хорошо, но не гениально.

– Эйнштейн был физиком, но на скрипке играл.

И они остались. Решение принято. Слезы осушены. Груз сомнения не тяготит ни плечи, ни душу.

С тех пор Зинка полюбила плакать. Она твердо уверовала в то, что на смену громкому горю обязательно приходит успокоение, безысходность неизменно обретает решение, а черные краски бытия приобретают если не белые, то хотя бы серые вкрапления. Проливала Зинаида

слезы сентиментальные: от дуновения весны, от сонат Вивальди, от любовной лирики и от грассированного «р» Эдит Пиаф; сочувственные: по отношению к бездомным животным, одиноким старикам, одноклассникам, получившим плохую оценку, регулировщикам, стоящим на посту в холод и дождь; жалостливые: из-за невыученных уроков, не купленной игрушки или вещи, не сыгранной правильно партии на концерте: и, наконец, злые, когда жалостливые оставались незамеченными или непонятыми.

Самыми обильными злыми слезами рыдала Зина перед поступлением в Гнесинку. За семь лет учебы в знаменитой музыкальной школе при училище она успела не просто устать от постоянных занятий, репетиций, выступлений, от прогрессирующего миозита в почти профессионально затекшей шее, от бесконечной зубрежки сонат, прелюдий и вариаций, что наконец решилась признаться себе: испытывая любовь к музыке и преклоняясь перед великими композиторами и исполнителями, она должна выйти из этого мира и превратиться в стороннего наблюдателя или даже в искушенного зрителя, да в кого угодно, лишь бы подальше и побыстрее, пока она еще окончательно не возненавидела инструмент.

Зинка была настроена решительно, но мать оказалась на редкость несговорчива и непреклонна. Оставшись с дочерью в Москве, она, как оказалось, поставила крест на личном счастье. Нет, разводы в те времена, да еще в военном ведомстве случались довольно редко и неизменно сопровождались громким скандалом. Ни выяснять отношения, ни «бить посуду», ни тем более мстить кому-либо мать не собиралась, хоть и поговаривали, что в казахских степях уже бегает Зинкин младший братик. Раз в год она с улыбкой встречала прибывшего в отпуск неверного мужа, месяц лечила его желудок, утомленный жирной бараниной, и... стояла в бесконечных очередях в «Детском мире», чтобы на полигон полетел костюмчик для «внука Петрова» или «племянника Сидорова». С улыбкой встречала, с улыбкой и провожала в аэропорт. Так и жила все это время, улыбаясь на год вперед, чтобы оставшееся до следующего приезда время рыдать ночами в подушку, а днями муштровать дочь, напоминая той о принесенной ради нее жертве.

Если хотите отвратить от себя человека, нет вернее способа, чем постоянно напоминать ему о благодеяниях, во имя него совершенных. Эта простая аксиома не стала исключением и для Зины, она давно уже перестала внимать словам матери о чувстве долга и бесконечной признательности, коими должна быть наполнена вся ее последующая жизнь. Она забыла, как страшила ее когда-то возможность оказаться в Казахстане в новой, чужой для себя обстановке, как боялась она уехать из Москвы, потерять друзей и разрушить привычный мир, центром которого себя ощущала. Зина уже не помнила всего этого. Теперь ей хотелось лишь одного: сделать усилие и в ответ на все бесконечные упреки матери выкрикнуть ей в лицо:

– Я ни о чем не просила.

Хотелось, но не получалось. Не получалось не потому, что все же боялась обидеть мать. Просто не хватало пока решительности характера. А когда человек трусоват, оппоненту всегда легко настоять на своем. Так и случилось. Документы были отнесены в училище. Зине оставалось лишь готовиться к поступлению и упрямо повторять:

– Меня все равно не возьмут.

Мать недоуменно вскидывала брови и даже пыталась немного растянуть уголки губ:

– Почему не возьмут? И красавица, и умница, и играешь хорошо.

– Хорошо, но не превосходно, – вяло возражала Зина, а «умницу и красавицу» и вовсе пропускала мимо ушей, так как не отличалась ни цепким умом, ни примечательной внешностью.

– Терпение и труд все перетрут, – важно изрекала мать и отправлялась на работу, а пятнадцатилетняя Зина – в соседнюю комнату к новым жильцам, чтобы с только что вышедшей замуж за моряка дальнего плавания хохотушкой Тамарой часами красить губы помадами разных цветов, привезенными заботливым мужем из командировок, сооружать затейливые прически и ждать тех редких минут, когда разбредутся по своим делам все обитатели коммуналь-

ной квартиры и можно будет достать из-за буфета пластинку с манящим ритмом запрещенного рок-н-ролла и пуститься вскачь по матрасу, служившему Тамаре и стулом, и столом, и кроватью; по коридору, дергая в такт бешеной музыке звонки детских велосипедов, по общей кухне, грохоча крышками стоящих на плите соседских кастрюль.

Тамара была портнихой. В свободное от веселья время она кроила, строчила, обмеряла и подшивала любые ткани, фасоны и размеры. В коридоре постоянно сновали клиенты, а звонок каждые пятнадцать минут издавал четыре протяжные трели.

– Антонина Штепановна, душечка, откжойте, – шепелявила Тамара из-за закрытой двери, – у меня булафки во йту.

– Я открою, – подхватывалась Зинка, если была дома, и летела, обгоняя докторшу Антонину Степановну, к двери, чтобы лишний раз полюбоваться яркими галстуками, длинными пиджаками с широкими лацканами, набриолиненными волосами и нахальными глазами клиентов Тамары.

– Проходной двор какой-то, – вздыхала докторша, закатывая глаза.

Но Зина уже не слышала. Она встречала, обволакивала гостя заискивающим взглядом и теплой, наивно искренней улыбкой, провожала к двери и отрепетированным царственным жестом указывала на принесенный с помойки кем-то выброшенный видавший виды стул без спинки и произносила почти надменно:

– Ждите здесь.

А потом убегала и ждала, затаившись, и молилась каким-то своим богам, чтобы примерка затянулась и гость остался пить чай. И вот тогда-то Тамара непременно придет и позовет, и потянет, и вытолкнет на середину своего матраса и скажет со значением:

– Послушайте! Это вам не рок-н-ролл.

И Зина сыграет, и убежит обратно в свою комнату, и потом ночью будет представлять, как этот Пол, Дэн или Серж, отдышавшись после забойного твиста и затянувшись «Шипкой», небрежно бросит своим стилягам:

– Сегодня слышал одну скрипачку. Талантлива. Весьма талантлива.

Были среди заказчиков и такие, кого не следовало усаживать на стул. Они проскальзывали по коридору быстрее остальных, задерживались дольше прочих, но Зинку им играть никогда не приглашали.

– Не боишься, стукнут? – как-то спросила Тамару Зинина мать.

– Кому? Мужу?

– Не мужу, – фыркнула Галина, – а куда следует...

– Несовременная ты чувиха, Галька! Разве остался в этом хаузе хоть один френд, кому бы я не укоротила брюки?

– Про хаос я точно не знаю, а вот записывать себе всех в друзья не советую.

– Зря ты так. Людей надо любить.

– Как ты, что ли?

– А хоть бы и так.

Зинка тоже хотела любить. Надеть солнце-клеш, сделать начес, встать на каблуки и любить, но получалось лишь завернуться в серую плиссированную юбку с тоненьким пояском, заплести косу, вставить ноги в низенькие лодочки и отправляться разучивать гаммы.

– Давай ей справим такое, – Тамара подсовывала Галине журнал с фотографией умопомрачительного платья: рукава фонариками, крупные красные маки на нежном светло-салатовом фоне, ворох накрахмаленных нижних юбок и низкое декольте, едва прикрываемое прозрачными кружевами.

– Мала еще. Вот закончит училище...

Училище Зинаида не закончила. Не закончила, потому что не поступила. Не поступила не из-за нехватки собственного желания, а исключительно ввиду отсутствия признаков особого

таланта. Зинка радовалась и плакала горькими, новыми, обидными слезами. Одно дело самому про себя что-то знать, и совсем другое, когда тебе в лицо, бесповоротно, непреодолимо, не церемонясь, сказали: «Бесталанна», исключили из списков, списали со счетов, нарекли вторым сортом и главное, главное, – даже не предложили пробоваться на следующий год.

– Я же говорила, – рыдала Зина, уткнувшись в подушку.

– Не плачь. Все к лучшему, – философствовала Тамара. – Десять классов есть? Иди в институт или в техникум. А хочешь, шить научу? Если уж руки скрипку освоили, то уж с иголкой-то вмиг справятся.

– Какой техникум? Ты в своем уме? – возмущалась Галина. – Отдохнет немного, позанимается получше и поступит через год.

– Нет!

– Никаких «нет»!

Зинка вскакивает с кровати. Вся ее робость, лелеемая годами узурпаторским характером матери, в одно мгновение скручивается в тугой, упрямый, воинственный клубок. Один резкий рывок, и семь лет каждодневных многочасовых мук превращаются в выхваченную из футляра скрипку, звон разбитого стекла, глухой треск и последний аккорд погибшего инструмента.

3

Славочка!

Как ты права, что укоряешь меня в немногословности и неаккуратности. Да, пишу теперь редко и кратко. Это я о письмах, а вообще-то пишу я теперь практически постоянно. Не знаю, правильную ли тему выбрала для исследований и нужно ли науке это «новое слово»? Главное, сложно найти экспериментальный материал. Представляю, как ты сейчас хмуришься и шепчешь: «Люди – не подопытные кролики!» Как знать, дорогая, как знать? Возможно, все мы чьи-то белые мыши, составные части какого-то всеобъемлющего опыта, глобальных испытаний, результаты которых каждодневно фиксируются в неизвестных нам лабораториях. Опять я сбиваюсь с мысли и ударяюсь в философию, но это лишь для того, чтобы ты сумела понять меня и принять то, что я делаю.

Знаешь, я обнаружила удивительную вещь: психика здоровых людей скрывает в себе гораздо больше невероятных тайн и запутанных причинно-следственных связей, чем у заведомо больных. Человек, к сожалению, может родиться с умственными отклонениями, и верного объяснения, научного обоснования такому стечению обстоятельств можно не найти никогда, а вот чем объясняются особенности характера «нормальной» человеческой личности – это действительно занятно. Я вот думаю, если среди населения всего земного шара попытаться выявить абсолютно добродетельных или безнадежно злых людей, вряд ли они займут территорию больше Новой Зеландии. Да и этого, пожалуй, будет многовато. Большинство наших характеров словно выписаны по одному и тому же рецепту: чуть-чуть нравственности, немного распущенности, чайная ложечка набожности и горстка вольнодумства, капелька участия и столько же зависти, всего в меру, и только так. Но есть ведь отдельные индивидуумы, у которых одна черта получает развитие, начинает преобладать над другими, руководит помыслами, чаяниями, поступками человека и, в конце концов, начинает перекраивать на свой лад саму судьбу. И в этом случае, я уверена, не обходится без некой причины, определенного толчка, побудившего одно из чувств начать превалировать над другими. Прослеживание подобной связи представляется мне занятием весьма занимательным. Обещаю не включать твою жизнь в область своих изысканий, дабы не навлечь на себя ни твою обиду, ни гнев того, в кого тебе посчастливилось верить. Надеюсь, внимание к происходящему вокруг меня не подведет, и мне таки удастся собрать материал, необходимый для получения степени. Все же кандидат – это не та ступень, на которой стоит останавливаться, как ты полагаешь? Мне видится, что кандидат – это всего лишь один из сонма жаждущих проникнуть в некое желанное сообщество, а доктор – тот, кому это сделать удалось. Попытаюсь и я. Начинай держать кулачки. Благо обстановка сейчас немного изменилась, и я могу позволить себе работать вечерами дома, а не засиживаться допоздна в рабочем кабинете. Ладно, об этом в другой раз. Целую тебя. Я.

4

– Эй, ты чего? – В палатку просовывается кудрявая голова Нэнси. Голубые глаза широко распахнуты, веснушчатый носик наморщен.

Алина торопливо смахивает набежавшие слезы.

– Так. Устала просто.

Нэнси деловито втискивается в палатку, суетливо прикасается ко лбу подруги, торопливо проводит руками за ушами, не увеличены ли лимфатические узлы. Алина вяло отмахивается:

– Говорю тебе, устала.

– Еще полсрока.

– Знаю.

– Можешь, в принципе, подать прошение и...

– Не беспокойся. Я в порядке. – И откуда только берутся силы улыбнуться?

– Ладно. А кто это был с диктофоном?

– Да один журналист.

– О работе расспрашивал? А почему тебя?

Логичный вопрос. Пресса здесь бывает часто, работу американского Корпуса мира необходимо освещать и прославлять, дабы у нации крепли патриотические чувства и не угасала вера в великую миссию своей страны. Корреспонденты приезжали, щелкали вспышками, просили «встать сюда», «повернуться туда» и отбывали в сопровождении руководителя отделения, чтобы взять у него интервью в удобных креслах кондиционированного офиса. Да это и правильно. Им нужна информация. Что может рассказать им Алина? Что оказалась в Камеруне, потому что в интернате неплохо выучила французский? Что раздает населению чистую воду, презервативы и ведет разъяснительные беседы об ужасах СПИДа, зная о том, что, даже если все население этой страны завтра окажется зараженным, ее на самом деле это оставит совершенно равнодушной? Что завербовалась в Корпус мира лишь для того, чтобы укрыться от угроз бывшего мужа-американца, который обещал лишить ее гражданства? Правильное, в общем-то, обещание, если учесть, что на развод она подала на следующий же день после того, как стала американкой, но это только если не брать в расчет трех лет постоянных унижений, ругани и даже синяков, которые оставались на ее теле всякий раз, когда она решалась продемонстрировать характер. Да, ее никто не заставлял терпеть побои, ее не запирали в доме, за ней не следили и не шептали зловеще, что найдут где бы то ни было и во что бы то ни стало, если только она попытается сбежать. А зачем, скажите, бегать за домработницей, зачем тратить время на поиски старой рабыни, если можно буквально за несколько минут обрести новую? Интернет пестрит фотографиями и анкетами жительниц бывшего СССР, жаждущих легкой жизни с иностранным принцем. Алина догадывалась, что она – далеко не первая в списке русских жен своего американца. Ее предшественницы наверняка сбежали, как только их сон превратился в совершенно противоположную явь. Одни обнаружили, что в Америке, для того чтобы жить, оказывается, тоже нужно работать. Другие сделали неожиданное открытие, что прилагательное «иностранный» не всегда сопровождается существительным «принц». Они возвращались разочарованные. Некоторые опускали руки, бросали нелепую затею, обращали свои взоры на Васю, Петю или, если вдруг повезет, Эдуарда. Остальные не оставляли попыток соединить прилагательное с желанным существительным, не боясь в очередной раз промахнуться в точности наведенного прицела. Алина не вернулась. Потому что не разочаровалась, потому что не промахнулась с прицелом, потому что, как ей тогда казалось, добилась поставленной цели. Принц, муж и Америка нужны были вовсе не ей, и Алина была счастлива, потому что смогла наконец получить чужую мечту.

– Так о чем он тебя спрашивал? – не отстает Нэнси.

«Не о чем, а о ком...»

– Не о чем.

– Странная ты какая-то, – тянет Нэнси, выбираясь из палатки. – Не поймешь тебя.

Нэнси всегда говорит конкретно, не обобщает, в отличие от других. Сколько раз уже Алина слышала из уст своих теперь уже соотечественников эти слова: «Вы русские...» Дальше следовали всевозможные вариации от все выражающего и всеобъемлющего американского «cool»[2] до весьма растяжимых и трудно объяснимых определений наподобие только что высказанного «странный». Ничего удивительного, так уж устроен мир. Каждый считает свои отличия от других выдающимися и называет особенности других людей странностями. Нет, без обобщений, конечно, нельзя. Да и сомнительно, чтобы они вырастали из пустоты. Спорить с этим – все равно что утверждать, будто французы приветливы со всеми, кто рискует обратиться к ним на английском языке, японцы не кладут полжизни на то, чтобы переметнуться из рядов синих воротничков к белым, испанцы никогда не откладывают дел на завтра, итальянцы не считают свою пиццу вершиной кулинарного искусства, а россияне пьют не больше, чем жители других стран. Но все же обобщений Алина не любила, она всегда хотела быть особенной. Пусть непонятной и странной, но особенной, исключительной, неповторимой, необыкновенной. В общем, той, о ком спрашивал этот прощелыга – журналист.

Она выходит из палатки, торопится скорее добраться до пункта раздачи материалов и сесть в автобус, пока еще не заняты все места на теневой стороне. Бесконечные перемещения в душном, доисторическом средстве передвижения неизвестного происхождения – единственное развлечение последних месяцев. Получил коробки с Дюрексом, прокладки, бутылки с водой, и в автобус, чтобы через полчаса тряски, тошноты и излияний всем возможным богам о скорейшем окончании этого пути, улыбаться, раздавать провизию в протянутые руки и держать просветительские речи, стараясь уцелеть в толпе, перекричать гвалт местной, а потому не слишком понятной смеси французского с английским и пытаться справиться с непрерывно преследующим, не дающим продохнуть зноем. Здесь, на Севере Камеруна ничто не напоминает благодати влажных экваториальных вечнозеленых лесов, буйной растительности и неповторимого биоразнообразия его центральной и южной частей. Сплошные саванны в худшее время года. Конец сухого сезона. Кажется, что все вокруг окрасилось сплошным желтым цветом: пересохшая почва, выжженные пожарами травы, кора деревьев со следами вездесущего огня, даже зубы и белки глаз людей, протягивающих ежедневно свои руки к миссионерам, пожелтели, кажется, от солнца, а не от образа жизни. В этом уголке страны ничто не говорит о том, что вы находитесь в одной из самых развитых стран тропической Африки. Тут вас окружают те семь процентов населения, что не причисляют себя ни к католикам, ни к мусульманам, веруют в анимализм, могущество сил природы или поклоняются предкам. Находясь среди таких аборигенов жаркого континента, вы никогда не поверите, что спортсмены Камеруна – всемирно известные атлеты, а футбольная сборная дошла до четвертьфинала не где-нибудь, а на прошлом чемпионате мира. Вы даже представить не сможете, что всего в нескольких сотнях километров отсюда простираются высококлассные курорты, с восторгом посещаемые мировой элитой, что Яунде – одна из самых тихих и спокойных африканских столиц, что среди музеев Камеруна, а их немало, есть музей искусств. О каком искусстве можно помышлять, стоя под прицелом голодных глаз и протянутых рук? Нет, в этих условиях, на этой точке земного шара Алина может думать лишь об одном: «Как я здесь оказалась?» и «Почему я до сих пор отсюда не сбежала?». Хотя ответ очевиден. Следующий шаг необходимо хорошенько обдумать, чтобы на сей раз удар, который она нанесет, оказался бы если не сокрушительным, то, по крайней мере, гораздо более ощутимым, чем вся эта американская канитель, которую она себе устроила.

[2] Клевый (*англ.*).

– Лин Майлз, – называет Алина себя, обращаясь к распределяющему, утонувшему в кипе списков и уставшему от всех вокруг и от самого себя. Тот долго перебирает листки, роняет их, чертыхается, наконец, находит ее фамилию, вялым жестом указывает на самый дальний автобус и кивает на несколько коробок, предлагая девушке захватить их.

Алина тяжело переступает по песку, волоча тяжелые упаковки с водой, проклиная и себя, и Камерун, и Корпус мира, и американцев, и собственно Америку. «Пора заканчивать. Признать поражение в этом раунде и начинать следующий. Время идет. Сейчас мне двадцать два, а жизнь уже катится со страшной скоростью. И дальше она будет только ускорять свой бег. Я должна добиться желаемого хотя бы в этом тысячелетии. Что ж, неплохие рамки я установила. Осталось всего ничего. Каких-то три года. Девяносто седьмой скоро закончится. А когда, кстати, наступит новое тысячелетие? Может, в две тысячи первом? Тогда у меня в запасе все четыре».

– Лин! – Нэнси призывно стучит по порванной обивке сиденья рядом с собой, улыбается широко ровными рядами голливудских зубов («Подумаешь, два года в брэкетах!»), будто и не изображала несколько минут назад воплощенное оскорбленное достоинство.

Алина заставляет себя улыбнуться в ответ, садится рядом и отворачивается. Может, это заставит Нэнси понять, что она не расположена к болтовне. Американка намеков не понимает, заводится вместе с двигателем и тарахтит с ним в такт все время поездки, заикаясь на ухабах и напевно растягивая слова на небольших участках ровной дороги. Реакция собеседника, точнее слушателя, ей не требуется. Алина и не слушает. Лишь одна фраза выдергивает ее из вереницы собственных путаных мыслей:

– Я считаю, что все мы здесь оказались не просто так. Ты вот зачем приехала? Я, например...

А и правда, зачем? Что это дало ей? К чему привело? К пониманию того, что где-то жизнью называют то, что она никогда не осмелилась бы так назвать. Но совсем необязательно было ехать так далеко, чтобы сделать подобное открытие. Конечно, в нескольких десятках километров от Москвы люди не скачут голышом, не охотятся на леопардов и не просыпаются по ночам от топота напуганных тропическими ливнями носорогов. Их не преследует призрак желтой лихорадки. Но мучающие их монстры, возможно, гораздо страшнее диких зверей и смертельных болезней. Им изо дня в день говорят о приватизации, индексации, конгрессах и форумах, о Нобелевских премиях и нанотехнологиях, о юбилеях великих писателей и о победах российских фильмов на международных кинофестивалях, о спортивных достижениях, о мировых рекордах, о грандиозных предвыборных кампаниях, которые, бесспорно, приведут всех к светлому будущему. Людям рассказывают о доступности образования и медицины, о борьбе с коррупцией, свободе слова и прочих прелестях, неизменно вызывающих чувство непомерной гордости за свое отечество. Обо всем этом днем и вечером со страниц газет, из теленовостей и по радио может узнать каждый, а по ночам россияне предоставлены сами себе и вольны размышлять о том, суждено ли им завтра проснуться. И не потому, что страну захлестнула волна терроризма, а лишь из-за того, что в доме их, построенном при царе Горохе, ремонт проводился целые эпохи тому назад или не проводился вовсе; от того, что комиссия признала их квартиру аварийной и не пригодной для проживания еще в прошлом веке, а трещины по потолку расползаются со страшной скоростью и, наконец, от того, что все еще неизвестно, дадут ли завтра воду, свет или газ. Впрочем, справедливости ради можно признать, что сомнения в действительном приближении перемен могут посещать людей не только по ночам. Утром, приводя детей в школы, едва ли не в каждой второй они натыкаются на приветственный лик вождя мирового пролетариата. В учреждениях, призванных научить детей не только складывать цифры и декламировать наизусть «Письмо Татьяны», но и с уважением относиться друг к другу, до сих пор отсутствуют двери между кабинами в женских туалетах, хотя практически все классы оснащены телевизорами, компьютерами, магнитофонами и проекторами.

Нет, если бы Алина просто хотела открыть для себя мир, она бы не стала забираться так далеко. Просто ее жизнь – это погоня. И чтобы сделать следующий шаг, необходим продуманный план, отретушированный без сучка, без задоринки. Алина обязана опередить наконец ту, которая снова оказалась недосягаемой.

5

– Недостача. Видишь? Опять недоработка, – бригадир недовольно оглядывает Зину, вздыхает: – Ну, что с тобой делать, а? План – он для всех одинаковый, понимаешь? Не я же его выдумал, в конце концов. А тебе до нормы, как мне до Луны. Ну, что с вас, малолеток, взять?

Он машет рукой, выражая жестом все непередаваемое словами пренебрежение, что вызывает у него Зинка и ей подобные. Хотя нет. Подобных Зине здесь все-таки нет. Она одна такая: и образованная, и немного, пускай чуть-чуть, но все же одаренная музыкантша, и совершенно бездарная ткачиха, и маленькая, неопытная девятнадцатилетняя девушка с розовыми мечтами и романтическим бредом в голове, и сложившаяся женщина со своими страстями, феерическими желаниями, продуманными планами и несуразными глупостями.

Женщиной Зина стала год назад. Это была, по ее собственному мнению, первая несуразная глупость в ее жизни, по мнению Галины, конечно же, сто первая. Звали эту глупость Бобом, и обладала она всеми необходимыми атрибутами для того, чтобы быть принимаемым в Тамарином «ателье»: брюки клеш, кошачья пластика, клетчатый пиджак и пластинки Армстронга, доставаемые с загадочным, неприступным видом из тщательно упакованных, непрозрачных свертков. И демонстрировал Боб все эти сокровища не красавице Тамаре с ее чудесными пергидрольными локонами, пухлыми, алыми губами, вздернутым носиком и манящим, грассирующим «р», а исключительно Зине – Зине, которая не доросла и до полутора метров и весила немногим более сорока килограмм, Зине, чьи вторичные половые признаки, казалось, вовсе забыли проявить себя, а лицо напоминало испекшийся блин: веснушчатое с размытыми чертами. Если рассмотреть каждую деталь отдельно, то описанию можно придать определенную четкость: остренький нос, довольно длинный, слегка выступающий вперед подбородок, низкий, почти всегда нахмуренный лоб, тонкие губы. Но вместе все как-то расплывалось, не запоминалось. Хотя многих, да и саму Зинку, восхищали ее глаза: глубокие, синие с вечной романтической поволокой, словно вызванной готовыми вот-вот пролиться слезами. Если и можно пленить кого-то одним только взглядом, то Зинаиде это было неизвестно: опытов таких она не проводила, так как успех подобного эксперимента подвергала большим и небеспочвенным сомнениям. В общем, редкое внимание со стороны представителей противоположного пола было для нее, конечно, желанным и, бесспорно, приятным, но продолжало казаться весьма удивительным. Заинтересованность Боба и вовсе поразила Зинку. Впрочем, ничего особенно странного в таком проявлении чувств на самом деле не было. Если кто-то из обитательниц квартиры и мог произвести впечатление на приходящих к портнихе, то кроме нее самой на роль искусительницы могла подойти только Зина: все остальные были дамы серьезные, амурных планов не строящие, флиртовать не умеющие или давно разучившиеся, да и интереса к подобной публике, что представляли собой Тамарины клиенты, не проявлявшие. У самой же Тамары к тому времени появилось личное сокровище, собственноручно упакованный сверток, туго затянутый в цветастые пеленки, что приносила с работы соседка – врач.

Сверток именовался Маней и не имел никакого отношения к застрявшему в плаваниях моряку, который из разряда мужа после довольно продолжительной качки и нескольких сильных штормов был все же успешно произведен в ранг бывшего под напором увеличивающегося Тамариного живота и ее всепоглощающей, неземной любви. Новая любовь, однако, присутствием своим семью не баловала. Все, что известно было об этом человеке в их коммунальной квартире, исходило от самой Тамары: познакомились, полюбили, сошлись, жизнь на время разлучила. Где, как, когда, почему – подруга не говорила, а Зинка не спрашивала.

– Работает, – объяснила отсутствие мужа Тамара и погрузилась в верное ожидание, что заставило Зину убедиться в том, что профессию моряка соседка за работу не считала.

Важное занятие Машиного отца денег особых, видимо, все же не приносило. Тамара теперь строчила в два раза больше и не отказывалась ни от каких, даже «безвкусных и совершенно неинтересных» заказов. Времени у Тамары не хватало ни на то, чтобы еду приготовить, ни на то, чтобы собственно поесть. Зина заходила к ней в комнату, ставила рядом со строчащей машинкой тарелку горячего супа, забирала с неизменного матраса орущий сверток, уносила к себе. А там баюкала, тискала, качала, обцеловывала, сюсюкала, показывала старых деревянных лошадок, выпиленных для нее когда-то отцом, умершим несколько месяцев назад в Казахстане от внезапной остановки сердца.

– А что вы хотели, на молодой-то скакать? – почти в полный голос спросила на кухне дворничиха Фрося у докторши.

– Бросьте, Фрося! Как вам не стыдно?!

А Зинка влетела тогда в кухню, чуть не сшибла Фросю, сверкнула на нее злыми глазами, порывисто обняла Антонину, и обратно к Тамаре, к ее любви, к ее раздутому животу, к материнской груди, к жизни, к джазу, подальше от сплетен, злорадства и неприкрытого довольства тем, что «и у этих антилегентов не все слава богу».

Интеллигентов в понимании Фроси в квартире немного – Галина с дочерью да Антонина. Но доктор, конечно, ближе к народу. Врач – профессия понятная, необходимая, уважаемая. Концертмейстера Дома культуры уважать тоже можно, а понять гораздо сложнее.

– Что нового на работе? – решила Фрося как-то завести с Галиной светскую беседу.

– Сегодня давали Шуберта.

– Жаль, вам не удалось взять.

– Почему?

– Они же дорогие, шубы-то.

Галина захохотала, кивнула согласно:

– Дорогие, Фросенька, скажу я вам, ох, дорогие, – и тут же забыла про соседку, упорхнула в комнату, заговорила с дочерью: – Зря ты не пришла, Зина. Если бы ты только слышала. «Лесной царь» – это просто божественная баллада, изумительная. Я понимаю, почему именно она принесла ему всемирную славу.

– Мама, я учусь в музыкальной школе.

– Да, но Шуберт...

– Я знаю, кто такой Шуберт.

– Знать мало, Зиночка, ой, как мало. Надо чувствовать, понимаешь? Вот когда звучат первые аккорды, как только в тебя проникает ре минор...

Дальше Фрося уже не разобрала. Ничего она в этих музыкантах не понимала, знала только, что у Галины «мужик загулял», сочувствовала ей, не без этого, но в душе, да и у подъезда на лавочке сознавалась и самой себе, и товаркам, что спать с горячей бабой все же приятнее, чем с каким-то там Шубертом, который, оказывается, как ей потом объяснили, был композитором, и даже не нашим, нерусским. Зинка была понятнее матери: и ругнуться могла по-настоящему, и с Тамаркой-портнихой дружила, а уж когда девка скрипку разбила, так Фрося за нее даже обрадовалась:

– Авось нормальным человеком станет.

– Или наоборот, – неожиданно просипело в ответ квартирное несчастье – Колька-алкаш, – служившее до недавнего времени грузчиком в овощном магазине, но уволенное оттуда по причине постоянных и непомерных возлияний. Это «отродье» Фрося к интеллигенции, естественно, не причисляла, хотя помнила, как лет пятнадцать назад этот «горе-соседушка» в редкие минуты трезвости вдруг начинал читать каких-то поэтов, утверждая, что они из какого-то там Серебряного века, или монологи литературных героев, которых он будто бы играл на сцене в прошлой жизни. Прошлая жизнь была давно, еще до войны, о ней никто не знал, даже Фрося. Тогда Колька был Николаем, актером, семьянином, любящим мужем и

отцом двух девчушек. Семьи не стало под Псковом во взорванном эшелоне, а Николай бился за Сталинград и не знал пока, что еще выживет в этом ужасе, и не ведал, что уже умер вместе с женой и детьми.

Кольку Фрося тоже не понимала, не жалела его, стыдилась такого соседства. Зато остальные жильцы были нормальными: и Тамарка с ее бесконечной, странной клиентурой и беспрерывно стучащей машинкой, и штукатуры Нина с Петром, и их мальчишки: одинаковые, рыжие, чумазые, бойкие, голосистые, и почтальонша – Вера Ивановна, всегда оставляющая для Фроси к праздникам лучшие открытки. У дворничихи много друзей, а родственников и того больше, им приятно получать весточки.

Вот и все. Хотя нет. Есть ведь еще новый муж Томочки, личность загадочная и неуловимая, все, что известно о нем Фросе – фамилия, хотя в данном случае – это уже кое-что. Фамилия у него Фельдман. Тамарке письма приходят от него, Фросе почтальонша показывала. Каждую неделю конверт от Фельдмана М.А. Бедная малышка Манечка! Угораздило же ее мамашу влюбиться в какого-то Фельдмана, хорошо хоть додумалась девку на себя записать, чтоб той всю жизнь не мучиться. Кравцова куда лучше, чем Фельдман. Пусть хоть по этой части у ребенка все в порядке будет, она ведь еще совсем крошка. Зинка, вон, с ней без продыха возится.

Зинка возится. Маша мало спит, мало ест и много плачет. Ее не развлекают погремушки, не утешают колыбельные и даже деревянные лошадки уже не радуют.

– Отдай ребенка матери, надорвешься ведь, – Галина говорит неожиданно мягко, сочувственно. За прошедший с Зинаидиного провала год она смирилась с нежеланием дочери посвятить себя музыке.

– Тамаре завтра заказ сдавать.

– А тебе завтра к станку ни свет ни заря. Сдалась тебе эта фабрика! Зин, ну ладно, забудем о музыке. Не хочешь, как хочешь. Давай займемся чем-нибудь серьезным.

– По-твоему работать на фабрике – это несерьезно?

– Не в этом дело.

– И в этом тоже.

– Зиночка, я хочу помочь.

– Купи мне скрипку.

Переспросить Галина боится. Скрипка появляется на следующий же день, лежит на диване в футляре рядом с орущей Манечкой.

– Зин, уйми девку, а? Ну, хоть часок поспать после смены, – заглядывает в комнату дядя Петя – штукатур.

Зинка вынимает из футляра скрипку, привычно прижимает инструмент подбородком к плечу, взмахивает смычком, и... плач прекращается.

– Зина! – вопит дядя Петя. – Я спать хочу! Машка заглохла, так ты бренчать удумала. Совесть есть?!

Скрипка послушно смолкает, ребенок открывает рот. Дядя Петя влетает в комнату, хватает Манечку, баюкает, тискает, трясет над ней погремушкой, Маша рыдает, не умолкая, Зина берет инструмент...

– Ладно, играй, – вздыхает дядя Петя и косится задумчиво на моментально затихшую девочку, – ну надо же, меломанша какая!

С тех пор Зина играла часто, иногда пыталась схитрить, заводила пластинки матери с записями Стерна, Фури, других великих скрипачей (неоценимая польза первого замужества Тамары), Маша молчала не больше пятнадцати минут, требовала живого исполнения. За одним из таких импровизированных выступлений и застал Зинку тот самый Боб, который шел к портнихе, ошибся дверью и одним своим появлением каким-то непостижимым образом сумел настолько внезапно и сильно вскружить этой играющей на скрипке девушке голову, что пре-

вращение ее в женщину произошло буквально через три дня под звуки стучащей машинки, ругани, как всегда, не выспавшегося из-за постоянного шума дяди Пети, пьяные песни Кольки, осуждающее ворчание Фроси и мерное сопение Маши, спящей рядом с непосредственным местом действия в коляске, добытой где-то по случаю приятелями таинственного Фельдмана.

Разочаровалась Зинаида в набриолиненном Бобе так же внезапно, как и воспылала к нему. Стоило юноше несколько недель спустя, недовольно скривившись, взглянуть на захныкавшую Машу и сказать почти презрительно: «Да убери ты ее отсюда, чего с младенцем возишься?» – как очарование спало, будто пелена. Вместо уверенного в себе, модного стиляги перед Зиной очутился жалкий воробышек с хлипкой, впалой, нетронутой волосами грудкой, маленькими, юркими, хитрыми, бегающими глазками и высокомерным, совершенно обнаженным эгоизмом. И единственное, что она теперь ощущала, было чувство внезапного, оглушительного безграничного стыда. Не за себя, за него. Боб испарился из Зининой жизни столь же молниеносно, как и возник, не оставив, слава богу и Тамариной спринцовке, после своего пребывания никаких последствий, за исключением налета брезгливости, который Зина еще долго пыталась оттирать в общем душе дважды в день, выслушивая все, что думают соседи о ее единоличном владении ванной.

Вместе со стилягой Бобом из Зининой жизни стал и уходить джаз и мечты о платье с воланами. Машу пугало надрывное звучание саксофона, раздражал рок-н-ролл и возбуждал буги-вуги. Пришлось вернуться к классике и заполнить Шопеном и Штраусом подоконник Тамариной комнаты.

– Он говорит: «Я умнею!» – Тамарины щеки пылают, глаза горят живым блеском, она стоит на коленях перед матрасом, водит мелом по разложенному на нем куску материи.

– Кто? – Зина пытается ухищрениями впихнуть в девятимесячную Машу хоть сколько-нибудь чайных ложек каши.

– Миша. Он говорит, что джаз – это, конечно, замечательно, но классика есть классика, и каждый уважающий себя человек...

– Погоди! Как это он тебе говорит? Он же не приезжал, Фельдман твой, и Машку не видел, коляску, и ту с оказией передал.

– Вот так, – Тамара вытягивает из-под матраса внушительную пачку писем. – Так и общаемся. – Она роется в ворохе бумаг, вынимает один из конвертов: – Ага, нашла. Слушай! «Без музыки жизнь была бы ошибкой, музыка – самый сильный мир магии». Здорово сказал, правда?

– Здорово, – соглашается Зинка. О том, что первым это произнес Ницше, она Тамаре не сообщает, но чувствует, что знакомство с загадочным мужем соседки, которого она до сих пор еще не видела, стало для нее теперь еще более притягательным. А вместе с тем личность этого человека теперь из совершенно загадочной превратилась в определенно любопытную.

– Ох, Зинаида, какая же я счастливая! – Тамара мечтательно прижимает к груди письмо.

– Ты? – Зина не может сдержать иронии. – Ешь, Маня! Давай-давай! А то вместо Бетховена будет тебе Бах. Да-да, бах-бах, и не на скрипке, а по попе.

– Я, конечно! Ведь у меня же самое главное в жизни есть.

– Это что же?

– Ты даешь! Любовь, конечно!

– Мама говорит: «Главное – здоровье!»

– Тю-ю-ю... Да я здорова, как бык.

Здоровая, как бык, Тамара через год попадет под машину. Умереть – не умрет, но и жить не останется: превратится в овощ, лежащий на кровати и изредка выполняющий команду: «Ешь, Тома! Давай-давай!» Зинка опять будет плакать какими-то смешанными, бесконечными слезами: горькими, жалостливыми, злыми и безысходными. А потом они кончатся и, как все-

гда, наступит облегчение, и забрезжит надежда, и приоткроется дверь, над которой кто-то повесил табличку с надписью «выход».

6

Славочка!

Пути господни неисповедимы, тебе ли не знать? Боюсь, чаяния мои и попытки написать что-либо действительно заслуживающее высокой оценки научного сообщества пока не слишком близки к какому бы то ни было успеху. В последнее время я даже начала сомневаться в целесообразности своих изысканий. Все же душа человеческая скрывает в себе невероятное количество страстей столь непостижимых по своей сути, что все старания выявить определенную причинно-следственную связь между характерами людей и их поступками могут оказаться затеей не только архисложной, но и совершенно невозможной. Меня, признаюсь, даже посетила мысль примкнуть к бихевиористам. Разве не заманчиво объяснять поведение людей исключительно рефлексами, сформировавшимися под влиянием внешних стимулов, и не утруждать себя погружением в психоанализ? Я бы, наверное, так и сделала, если бы не столкнулась с необъяснимым для меня пока противоречием человеческой натуры. Представь себе, моя милая, что люди, погруженные в одни и те же обстоятельства с приблизительно одинаковыми условиями существования, могут реагировать совершенно по-разному на возникшие внезапно жизненные ситуации. Причем реакцию эту заранее предугадать подчас оказывается гораздо труднее, чем ты можешь себе вообразить. Наши суждения о людях довольно спорны, мы руководствуемся в своих выводах об окружающих, как первым впечатлением, так и тесным, каждодневным общением. И, как ни странно, зачастую тот, кто казался нам отзывчивым, добрым, чутким, старается отстраниться от произошедшей рядом трагедии, а тот, кто был равнодушен и эгоистичен в мелочах, оказывает неоценимую, безвозмездную помощь.

Взрослые люди, всем интересующиеся и по-соседски вникающие во все детали чужой жизни, смакующие по кухням подробности любовных историй, отвратительных сцен и пустых, мелочных ссор и считающие себя при этом единой большой семьей, не забывая лишний раз напоминать друг другу об этом, легко отказываются от одного из своих ближних, оставляя его один на один с произошедшим несчастьем. А маленькая, невзрачная девочка, тратящая впустую свои лучшие годы на совершенно нелепую для нее заводскую работу, провозгласившая смыслом жизни наиглупейшую войну с собственной матерью, неожиданно для меня превратила эти свойственные многим проявления юношеского максимализма в положительные стороны характера. Работа оказалась действительно необходимой, война, как мне видится, вскоре окончится полной и безоговорочной капитуляцией противника, а девочка эта, которую я уже и не считаю себя вправе так называть, взвалила на свои плечи заботу о маленькой девочке, парализованной женщине и, по-моему, еще об одном человеке (об этом как-нибудь в другой раз). И сделала она это так легко, непринужденно, нисколько не выставляя напоказ свой действительно благородный поступок, что всем нам остается лишь молча восхищаться и признавать, что мы и мизинца ее не стоим. Хотя что я говорю? Не думаю, что все эти хождения по инстанциям, разговоры с чиновниками, оформление опекунства,

бюрократическая возня дались моей героине просто. А между тем, моя дорогая, ей всего девятнадцать. Могли ли мы с тобой в таком возрасте мечтать о подобной силе духа?

Целую тебя, моя милая. Я.

7

– Ты не представляешь, как я жду перераспределения, – Нэнси выпрыгивает за Алиной из автобуса, – осточертело здесь все.

– Правда? Мне казалось, тебе-то как раз нравится вся эта романтика.

Девушки не спеша направляются к своей палатке, после душного дня жара немного спала, можно снять с головы надоевшую, словно приклеенную к ней, бейсболку, а с ног – пыльные, намокшие от пота кроссовки и пройтись по неостывшему до конца, но все же уже не обжигающему песку.

– Все эти лозунги: «Ваш реальный шанс изменить мир! Очевидная помощь людям!» – бред, да и только.

– Разве? – Даже Алина видит очевидную пользу в деятельности Корпуса мира.

– Конечно! Что мы делаем, а? Раздаем воду, резинки и улыбаемся. И зачем, спрашивается, я заканчивала колледж, зачем не спала ночами, учила все эти je suis, tu es, il est[3], зачем ходила на курсы первой помощи? Я хочу реальной работы. Слушай, может, ты меня научишь русскому, а? Потом махнем вместе в твою страну. Там, я слышала, воду раздавать не надо, действуют образовательные программы и...

– И самая необходимая населению Якутии вещь – английский язык.

– Зря ты. Надо думать о том, что дальше. Осталось всего четырнадцать месяцев.

– Всего!

– Да ты не успеешь оглянуться, как...

«Как сдохну, если задержусь здесь еще хотя бы на месяц. Угораздило меня подписать этот злосчастный контракт. Да, я американка, но что с того? Из никому не известной, заурядной москвички превратилась в жительницу Северной Каролины, которую даже не смогу без промедления отыскать на карте США. И в чем теперь мои преимущества? Как превратиться в Жаклин Кеннеди? Где искать молодого сенатора с однозначным будущим президента? Боже! О чем я думаю! Сдались мне все эти сенаторы и президенты. К тому же говорят, будто Джеки действительно любила своего мужа».

– На тебя сегодня большой спрос. – Нэнси неожиданно пихает Алину локтем, возвращая подругу в реальность.

– Что?

– Смотри! Какая-то женщина недалеко от нашей палатки явно ждет кого-то. Я ее не знаю. Ой, да она тебе машет.

Алина замирает. Она деревенеет, или леденеет, или рассыпается на тысячи маленьких осколков. Алина растеряна, опустошена, раздавлена. Она похожа на поезд, в котором кто-то внезапно дернул стоп-кран, и все пассажиры (внутренности, мысли, слова) попадали со своих полок. Алина ошарашена, удивлена, рассержена. Алина не может понять, как и зачем оказалась здесь та, которую меньше всего она хотела бы видеть, слышать и знать. Алина стоит как вкопанная, а нежданная гостья уже подбежала, затормошила, зацеловала, затараторила:

– Не ждала, правда? Я как снег на голову. Ты что, не рада? Расскажи быстренько своей подруге нашу поговорку про татарина. Ладно, можешь не рассказывать. А то всю историю России излагать придется. А я тут жду и жду. Долго же вы, однако, миссионерничаете. Где были? Что видели? Хотя зачем спрашиваю, все равно не запомню. – И она заливисто смеется своим серебристым смехом, встряхивает копной густых, светлых волос, закидывает лебединую шею, которую Алине хочется сжать изо всех сил и держать крепко до тех пор, пока смех не превратится в сдавленные хрипы.

---

[3] Я есть, ты есть, он есть (*фр.*).

– Что ты здесь делаешь? – К Алине возвращается дар речи.

– Учитывая количество километров, которое я пропахала от Яунде на этой колымаге, – гостья небрежно кивает на стоящий неподалеку заметно поржавевший джип, – я вполне могла бы рассчитывать на более любезный прием.

Она мгновенно переходит на английский и обращается теперь к совершенно оторопевшей Нэнси, которую внезапный сокрушительный поток иностранных слов должен был изрядно остудить в горячем намерении выучить русский язык.

– Вы успели привыкнуть к ужасному характеру Лины? Она практически всегда всем недовольна. Вот сейчас не видела меня больше года, представляете, а стоит хмурая, словно и не скучала вовсе.

«Я не скучала!» – Алина хочет закричать так, чтобы все дикие звери саванны разбежались в поисках укрытия, но она не в состоянии произнести и звука. Ничто не сможет убедить приехавшую, что на свете есть человек, не желающий ее видеть.

– О-у! – Нэнси понимающе кивает. – Вы давно не виделись. Наверное, хотите поговорить. Я пойду посижу с нашими, – она дотрагивается до руки Алины и буквально отдергивает кисть: – Что с тобой? Ты просто горишь! Заболела?

– Все в порядке. Иди.

И Нэнси бредет в направлении длинного тента – местной столовой, по дороге оглядывается, смотрит, как светловолосая красотка уже ощупывает лоб Алины, заглядывает ей в горло, оттягивает нижние веки, обеспокоенно слушает пульс. «Где-то я ее видела. Только где? Не помню». Если бы Нэнси захотела, она, наверное, вспомнила бы, что «один журналист», посетивший лагерь с утра, выронил по дороге к машине какой-то русский журнал, вспомнила бы, что она подняла его и, прежде чем вернуть, взглянула мельком на обложку, а вот с обложки как раз ей и улыбнулась та женщина, что суетилась сейчас вокруг Алины.

– Со мной все в порядке, – в третий раз отчеканивает Алина, отчаявшись умерить пыл посетительницы. – Скажи, зачем ты приехала?

– А ты мне даже пройти не предложишь? – Тонкая ниточка идеально выщипанной брови взлетает вверх изумленной дугой. – Ладно, у меня и времени-то нет проходить. Тебя так долго не было, а мне еще назад добираться бог знает сколько. Завтра летим в Индию, представляешь? Я так давно хотела там побывать. Ой, мне тоже сделали уколы, как тебе. Ну, от всех этих страшных болезней, и все такое. Теперь буду учиться мыть фрукты кипяченой водой, а тебе уж, конечно, не привыкать. Хотя не знаю даже, удастся ли отведать экзотики: график необычайно плотный – Бомбей, Дели, Калькутта, Мадрас, потом две недели в Китае, и домой. И знаешь что, дорогая, мне кажется, тебе тоже пора возвращаться.

– С чего ты взяла? – Тон слишком равнодушный, слишком искусственный. «Я переигрываю. Она заметит. Перестань, глупое сердце! Не бейся так сильно! Она услышит. И чему ты, интересно, радуешься, глупое? Тому, что к тебе нежданно-негаданно пришла на помощь та, от кого ты эту помощь принимать не должна?»

– А ты разве хочешь остаться? – Гостья растерянно обводит взглядом лагерь. – По-моему, все это совершенно не для тебя.

Алина молчит. Возражать не может. Ее визави, как обычно, права. Девушке не по себе. Ей кажется, что ее читают, как раскрытую книгу.

– Вот что, милая, если тебя разочаровал мужчина, не стоит винить себя и пытаться убежать куда-нибудь подальше, надо продолжать жить, – и Алина еле сдерживает вздох облегчения.

«Мужчина, конечно, оказался так себе, но разочаровал меня вовсе не он, а ты полгода назад своим письмом, в котором написала, что Америка тебе теперь совсем не нужна. Я сделала все, чтобы опередить тебя, чтобы хотя бы какие-то твои мечты осуществились в моей жизни, чтобы ты смогла осознать, как я живу все эти годы, что чувствую. Но нет! Ты просто

передумала, прекратила желать, позволила себе забыть о мечте и идти дальше с высоко поднятой головой. И передумала не тогда, когда рухнул мой брак и я могла бы спокойно вернуться домой, а тогда, когда я уже полгода надрывалась здесь, подписав этот идиотский контракт, чтобы только продолжать оставаться той, кем ты хотела стать».

Алина часто думала о том, каким образом эта женщина, которая так остро чувствовала ее настроение, что могла, будучи за многие тысячи километров, догадаться об охватившем Алину отчаянии, эта женщина, которая настолько верно знала и оценивала черты характера девушки, могла многие годы не видеть того, что было совершенно очевидным, того, что на самом деле занимало все помыслы Алины и являлось единственной настоящей причиной всех ее жизненных метаний. Сама Алина всегда находила этому только одно объяснение: объяснение элементарное и невероятно пугающее. «Просто она любит меня», – признавалась себе Алина и тут же задавала вопрос, на который не находила ответа: «Господи! Как может любить меня та, которую я так ненавижу?»

– Ненавижу! – неожиданно произносит она вслух.

– Да, я тоже вижу, – гостья отрывает взгляд от своего вместительного рюкзака, в котором увлеченно роется уже несколько минут. – Вижу, что знаменитые тропические ливни докатились наконец и до этой части Камеруна. Похоже, завтра здесь все же станет легче дышать. – Женщина смахивает с лица несколько крупных капель. – Так, мне надо поторопиться, а то тушь потечет.

«Не ври! Она – водостойкая».

– Куда же он запропастился?! Ну что за саквояж: карманов много, а толку ноль!

– Что ты ищешь?

– Сейчас увидишь. Помоги-ка! – Из сумки в руки Алины начинают бесконечной мелодией лететь ноты, мелькают страницы, в глазах рябит от знакомых названий: «Меланхолическая серенада» Чайковского, концерты Бетховена и Брамса, «Поэма» Шоссона. Алина не может отделаться от мысли, что вслед за кипой фуг и сонат чародейка выудит из своего «цилиндра» смычок, взмахнув им, словно волшебной палочкой, выудит у Алины из-за уха инструмент и заиграет, как всегда, божественно.

– Все не то, не то, не то, – ноты уже летят во все стороны.

– Знаешь, – Алина не может сдержать невольную улыбку, – классикам определенно не понравилось бы, как ты обращаешься с их творениями.

– Я уже сама классик. Вот. Нашла наконец, – она победно вытаскивает из очередного кармашка своего необъятного «ридикюля» белый конверт и протягивает его Алине: – Держи, а ноты давай скорее сюда, а то намокнут. Этого классики не переживут. Тьфу ты. Что за ерунду я говорю. Они и так уже...

– Что это? – Алина вертит в руках бумажку с цифрами и именем. «Скорее всего номер телефона какого-то Владимира».

– Это наш человек в Вашингтоне, – женщина утрамбовывает в рюкзак последние «симфонии» и подмигивает Алине. – Прилетишь туда. По приезде позвонишь ему, назовешься, он назначит встречу, отдашь ему свой паспорт на пару дней, а потом получишь назад с готовой российской визой.

– С липовой?

– С ума сошла! С настоящей, конечно! Да, еще тебе вручат билет на ближайший рейс до Москвы. И не беспокойся о гражданстве и контракте, с американцами договорятся.

– Не знала, что у тебя такие связи, – Алина готова сквозь землю провалиться от охватившего ее внезапно унижения.

– У меня? – Круглые глаза и искренняя невинность в голосе. – Что ты? Откуда? Это у поклонников классики.

– Понятно. А тебе не приходило в голову, что если бы я захотела вернуться, то сама нашла бы способ?

– Ты уже нашла отличный способ: завербовалась добровольцем в Корпус мира, только не думаю, что ты действительно хотела стать миссионером.

«Конечно же нет! Какой из меня миссионер! Я просто хотела досадить тебе, оставаясь американкой».

– Черт! Дождь усиливается.

– Скоро начнется настоящий потоп. – Голос у Алины спокойный, размеренный, абсолютно не вяжущийся с ее внутренним совершенно перевернутым состоянием.

– Ой, чуть не забыла! Подумать только! – Женщина снимает уже заброшенный за спину рюкзак, вновь лихорадочно переворачивает его содержимое, вытаскивает кошелек, вынимает оттуда купюры, протягивает Алине.

– Зачем это? Что мне с этим делать?

– Взять, дорогая, просто взять. Я ведь даже не поинтересовалась, есть ли у тебя средства добраться до Вашингтона.

– Мне здесь хорошо платят.

– Хорошо – понятие относительное.

«Да уж, твои гонорары мне и не снились!»

– Послушай, милая, не упрямься! Знаю, гордость и все такое, но вот что я тебе скажу: когда человек что-то получает, значит, он достоин этого, и не стоит отказываться.

Алина нерешительно смотрит на деньги. Да, их с лихвой хватит на билет до Вашингтона. Хватит как раз на то, чтобы сбежать, никому ничего не объясняя, не придумывая существенных оправданий своему поступку, не показывая своей слабости. Алина неожиданно вспоминает притчу, что услышала на одной из воскресных проповедей, куда таскал ее бывший муж – благочестивый христианин и настоящий тиран. Пастор рассказывал о каком-то пустыннике, которого неожиданно избрали архиереем. Тот долго отказывался, считая себя недостойным этого звания, но, в конце концов, не удержался и поддался на уговоры родственников. Чуть погодя, размышляя о таком даре судьбы, он решил, что, по всей видимости, действительно достоин этой должности, возомнил себя лучшим из лучших, но явившийся ангел не замедлил спустить его с небес на землю, объяснив, что избрание пустынника архиереем есть не что иное, как наказание людям за их прегрешения. «Верно, я настолько отвратительна, что некто решил наказать меня, заставляя принять помощь той, от кого я меньше всего хочу ее принимать». И, словно прочитав ее мысли, гостья засовывает Алине в нагрудный карман рубашки смятые купюры.

– Не переживай. Ты же знаешь, для меня это сущий пустяк. Ну, все, моя хорошая, надо разбегаться, а то мы превратимся в двух мокрых куриц. Дай хоть обниму тебя, а то как чужие, – она порывисто прижимает Алину к груди, чмокает по-матерински в макушку (а куда еще, она выше Алины на целую голову). – Милая! Я так соскучилась! Ладно, надо взять себя в руки. Увидимся дома, – она таким же сильным рывком отталкивает девушку и стремительно удаляется к машине, резко вскакивает за руль, газует и уносится прочь, оставив Алине нервный, прощальный взмах руки, клубы пыли, прибиваемые к земле нарастающим дождем, и запах своих духов с еле уловимым ароматом ландышей.

Алина смотрит вслед удаляющейся машине. Все произошло так быстро, будто и не было вовсе. В этом вся она: в бесконечном движении, в вихре эмоций, в постоянной череде событий, в кружении людей и мелодий. И играла она всегда так же, как жила: быстро, нервно, виртуозно, на последнем дыхании, играла так, что весь зал наполнялся ее энергией, ее полетом, ее напряжением, завороженно следил за каждым взмахом смычка, впитывал поток звуков, вырывающихся из скрипки с бешеной скоростью, чтобы после внезапного, резкого торможения,

еще несколько секунд приходить в себя, прежде чем разразиться овациями простых смертных, удивленных и благодарных за то, что им позволили прикоснуться к чуду.

Черный джип уменьшается, превращается в еле различимую точку и, наконец, исчезает совсем. Алина разворачивается и медленно бредет к палатке, не замечая воды, стекающей с нее ручьями, хлещущей по плечам, рукам, ногам. Если бы кто-то сказал ей, что она совершенно промокла, она бы не удивилась, но не поверила бы, что причина этому – обычный тропический ливень. Алина знает – она утопает в безвольных, отчаянных слезах, струящихся из ее широко раскрытых, немигающих глаз.

8

Влад Гальперин начинал читать свой курс «Особенности детской психологии» уже пятый год подряд, но волновался перед первой встречей со студентами всегда одинаково: лоб покрывался испариной, ладони – красными пятнами, голос предательски дрожал. Все это длилось несколько минут, до тех пор, пока он не включал проектор, не запускал слайд и не принимался с неизменным юмором комментировать возникающие на экране схемы, таблицы и фотографии. Он умел приковывать к себе внимание аудитории, вот и сейчас его слова звучали в полной тишине, не нарушаемой ни шуршанием, ни скрипом. Он заканчивал лекцию, а заканчивать все свои дела он любил на высокой ноте.

– Вы должны запомнить: ребенок рождается со всей иерархией потребностей Маслоу, а вот какая из частей индивидуальной пирамиды окажется превалирующей, сказать не может никто. И наша задача – сделать так, чтобы люди, именуемые родителями, осознали, что каждодневное общение с ребенком – это не просто удовольствие, а огромный труд по выращиванию полноценной, не обремененной комплексами личности. Многие ученые писали о парадоксах детского развития. Среди них Штерн, Соколянский, Эльконин, который утверждал, что парадоксы в детской психологии – это загадки развития. И вы – детские психологи, как педиатры, следящие за физическим здоровьем ребенка, должны следить за правильным развитием и функционированием его психики. Но отличным результатом вашей работы станет отнюдь не выявление каких-либо отклонений, а четкие, грамотные рекомендации по их устранению. Все это можно сделать только на основе глубокого, длительного исследования, зачастую сопряженного с полным погружением в ту среду, в которой и происходит динамика развития ваших маленьких пациентов.

Влад замолчал, послышались первые, робкие аплодисменты, тут же подхваченные более сильными и уверенными хлопками. Гальперин покидал аудиторию с заметно повысившейся самооценкой. Он, против обыкновения, даже не донес до своего кабинета те несколько записок, что неизменно передавались ему на первой лекции самыми отчаянными и, по его мнению, бестолковыми студентками. Выбросил бумажки в мусорную корзину, едва выйдя в коридор. Читать записки не хотелось, к тому же содержание их было до тошноты одинаковым: имя, фамилия, номер телефона. Разница, согласно слухам, была лишь, как все в этой жизни, в цене: некоторые рассчитывали исключительно на пятерку, других устроила бы и тройка. Владу все это было противно и чуждо, хотя, зная о том, что некоторые из коллег не брезгуют вступать в подобные «деловые» отношения, неприязни к ним не испытывал и закладывать их не собирался. Каждый выбирает по себе. К тому же и сам он оступился однажды. Это было в самом начале его карьеры преподавателя. Автора «сочинения» звали Катей, и она была поразительно похожа на его жену, которая ушла от него за месяц до этих событий, заявив, что он решительно ничего собой не представляет ни как муж, ни как мужчина, ни как специалист, потому что, в противном случае, ему не составило бы труда понять все ее претензии и наладить их разваливающиеся отношения. Она, возможно, была права. Отношения можно было бы наладить при наличии желания и некоторых усилий с обеих сторон. Но почему-то после этих слов у Влада и желание испарилось, и сил в резерве тоже не осталось. Не осталось ничего, кроме посеянного в подсознании зернышка собственной неполноценности, которое отчаянно захотелось вырвать, как сорняк, тут же после получения записки. Влад был не юн, но все же не слишком опытен, он позволил себе решить, что произвел на девушку неизгладимое впечатление, если не своей внешностью, хотя ничего откровенно отталкивающего в нем не было, то своим умом, в наличии которого никто не мог заставить его усомниться. Усомнился он сам в конце семестра, когда после заслуженной отправки на пересдачу его воздыхательница, которая сочла нужным не готовиться к экзамену, откровенно высказала ему все, что думает по поводу такого отноше-

ния человека к «своим долгам». Гальперин был неприятно поражен неожиданным открытием, он и не подозревал, что был кому-то должен, а так как одалживаться он не любил, то и записки подобного содержания с тех пор читать перестал.

Сегодня к тому же на чтение у Влада и вовсе не было времени. Он вернулся в Москву ночью после пяти часов ожидания стыковочного рейса в Цюрихе, торопливо смыл с себя все следы трехдневного мотания в самолетах, совершенного ради короткого, не слишком приятного, но, очевидно, небесполезного разговора. Влад принял душ и рухнул в постель как убитый. Думать не было сил. Поэтому теперь он почти бежал по коридору, стараясь поскорее оказаться в своем кабинете. По дороге он успел договориться о встрече с двумя аспирантами, отклонить предложение прочитать лекции в конкурирующем университете и согласиться сделать доклад на следующей конференции какого-то научного общества, название которого он забыл, захлопнув за собой дверь кабинета. Гальперин буквально бросился к своему портфелю, бережно достал из него диктофон и включил его. Послышалось тихое шуршание, затем зазвучал его голос:

– Ваше имя...

– По-моему, представляться здесь должны вы.

– Простите, такая форма записи на диктофон...

Неожиданный стук в дверь заставил мужчину выключить запись. В щель просовывается курчавая голова коллеги с отделения клинической психологии.

– Начало через пятнадцать минут. Ты идешь?

– Да. Сейчас. Только закончу. Займи мне, пожалуйста, место.

– Не думаю, что доклад на тему «Как определить лучший возраст для профориентации?» соберет аншлаг, – пытается шутить курчавая голова, – мы все здесь уже безнадежно профессионально сориентировались.

Влад нервно дергает головой, он не любит отвлекаться, еще больше не любит, когда его отвлекают. Дверь бесшумно закрывается.

– Думаете, о моей жизни нельзя мечтать? Или в ней нет романтики?

Влад прослушивает этот кусок пленки снова и снова, задумчиво грызет карандаш, делает пометки в тетради, записывает несколько слов с вопросительными знаками: «Гордость? Вызов? Гонор? Презрение? Зависть?» Мужчина прокручивает пленку до конца, слушает истошные, наполненные желчью выкрики «Уходите!», вскакивает, ходит по кабинету, останавливается возле окна, несколько секунд размышляет, разглядывая и не видя уже заметно пожелтевшие листья деревьев, а затем решительно возвращается к столу и, зачеркнув все написанное, выводит единственное, четкое: «Обида!»

9

Зинка на судьбу не обижалась, Господу Богу не жаловалась и даже слезы лить перестала. Было некогда. Тамара нуждалась в уходе, Маня во внимании, бригадир в перевыполнении плана, а в чем нуждалась Зина – она и сама не помнила. Все ее мысли были заняты беспросветной чередой глаголов, глаголов домашних: разбудить, помыть, причесать, обтереть, подтереть, достать, принести, приготовить, накормить, снова помыть, уложить и еще глаголов фабричных, точнее одного, что не позволял расслабиться ни на секунду, отстукивая в голове монотонный ритм: работать, работать, работать. Работать, чтобы получить возможность достать, принести, приготовить, накормить. И так без начала и конца, с утра до вечера, с весны до осени, от зноя до стужи.

– Устроила здесь богадельню, – беззлобно, даже сочувственно упрекала Фрося. – Чего маешься? И без того ни кожи, ни рожи не было, а теперь и вовсе словно тень по квартире мечешься.

– Мечусь, теть Фрось, – соглашалась Зина. – А как не метаться? Правда ваша, забот невпроворот.

– Тьфу на тебя. Устроила себе не жизнь, а черт-те что! А делов-то было: одну в дом инвалидов, другую в приют.

– А потом? – спрашивала без вызова, но с прищуром.

– Потом жила бы спокойно. Ноги на танцах, руки на станке, голова в шляпке.

– А душа где?..

Зина не злилась. Фрося была незаменима. Утром она убирала двор и возвращалась домой писать бесконечные письма в различные инстанции с просьбой «предоставить проживающему в их квартире инвалиду полагающуюся по закону отдельную жилплощадь», а в перерывах между ЖЭКом, Минздравом и ЦК КПСС кормила Тамару обедом и иногда, будучи в хорошем настроении, когда получала ежемесячное письмо от сына, живущего с семьей где-то на Севере, даже выносила судно. Зинка возвращалась домой, заходила к Тамаре и, не почувствовав привычного запаха мочи, отправлялась к Фросе благодарить и целоваться.

– Дура ты блаженная! – сердилась Фрося. – Себя загнала в клетку и меня с панталыку сбиваешь.

Но Зинка уже не слышала: приготовить, помыть, убрать, уложить...

– Зиночка, – заводила аккуратные правильные речи Антонина Степановна, – ты, конечно, поступай как знаешь, но и в нормальных семьях случается так, что дети попадают в интернат.

Зина хмурилась, отворачивалась.

– Я понимаю, – доктор дотрагивалась до плеча девушки, – это, конечно, крайняя мера, но тебе все же легче будет. Я могу узнать по своим каналам, какой интернат самый лучший, помогу устроить. А на каникулы будешь забирать Маню. Знаешь, наверняка есть и специальные учреждения для детей с музыкальными способностями, и Машенька...

– А у вас правда есть связи?

– Какие-то есть.

– Антонина Степановна, миленькая, мне врачи сказали, одно лекарство новое появилось, можно для Тамары попробовать. Вдруг поможет? Достаньте, а?

Антонина достала. Не помогло.

– Твоя жизнь, Зиночка, – вздыхала Галина, – это какой-то бесконечный поздний Куинджи: сплошной серо-фиолетовый тон и ни одного просвета.

– Мама, я не помню, что там у Куинджи, ни у раннего, ни у позднего.

– Как? А «Ночь на Днепре», а...

– Сходи лучше в детский сад за просветом.

Маша влетала в квартиру, и жизнь наполнялась смыслом.

– Иглай, – протягивала она Зине скрипку. Галина усаживалась на диван, Маня устраивалась на матрасе, переехавшем вместе с ней и занявшем место Зининой кровати, на которую уложили Тамару. Зина играла, Маня слушала, Галина вздыхала – досуг разнообразием не отличался.

– Пойдем посмотрим, как там мама, – скрипка возвращалась в футляр.

– Пойдем, – маленькая ладошка цепко хваталась за руку.

Они шли. Машенька поправляла подушку, выстраивала по ранжиру батарею баночек и скляночек на прикроватной тумбочке, целовала по Зининому требованию бледную щеку лежащей неподвижно женщины и спешила уйти.

– Почему не ты моя мама? – тоскливо спрашивает она в коридоре.

– Не я, – разводит руками Зина и улыбается. – Ты не думай, твоя мама, знаешь, какая была: веселая, добрая, говорливая.

– Правда?

– Правда. Вот она поправится, ты сама увидишь, ладно?

– Ладно.

Маша молчит, а потом опять:

– Но если бы ты была моей мамой.

– Сиротинушка! – сокрушенно гладит ребенка по голове проходящая мимо Фрося.

Зина не может сдержаться:

– Зачем вы так?! У нее и мама есть, и папа!

– Папа? Что-то я не вижу его. Где он?

Зина вспыхивает. Это тайна. Была Тамарина, стала ее.

– Мой папа лаботает, – наступает на Фросю малышка.

– Все они работают, – беззлобно бросает дворничиха. – Пять минут потрудятся, а потом поминай, как звали.

– Мой папа лаботает, – голос уже робкий, неуверенный, большие глазенки наполняются слезами. Вот-вот разразится буря.

– Конечно, работает, Манюшка! – Зина хватает девочку, тащит в комнату, открывает комод, достает пакет: – Видишь, милая, папа нам пишет, тебе пишет, он тебя любит и маму.

– А тебя?

– Меня? – Зина не знает, что сказать.

«Я люблю тебя» – так заканчивает каждое свое послание Михаил Абрамович Фельдман – бывший литературный критик и Машин отец, отбывающий срок за антисоветскую агитацию, а точнее, за запрещенную любовь к произведениям Пастернака, Булгакова и Солженицына, за хранение самиздатов и чтение отрывков из них в компании, где не все, к сожалению, оказались друзьями. Как Тамара очутилась среди слушателей, чем пленила этого неординарного, эрудированного, образованнейшего человека, Зина не знала, да и выяснить не стремилась. Зато теперь она прекрасно понимала, какая невидимая нить всего за несколько встреч так крепко привязала к нему подругу, что она не посчитала нужным разрубить ее, не побоялась ждать, не побоялась рожать, не побоялась писать, не побоялась жить.

Очередное письмо пришло через неделю после того, как с Тамарой случилось несчастье. «Читать – не читать», – не могла решить Зина, в который раз перечитывая адрес на конверте и внутренне содрогаясь от внушающего какой-то первобытный ужас названия далекого сибирского поселения. Открыла конверт, достала письмо, взглянула на размашистый почерк, снова свернула бумагу, убрала, опять достала. Так и стояла в коридоре, теребила чужие неровные строки и свою напуганную душу, пока не подошла Фрося, не наклонилась над конвертом, не спросила жадно:

– Кто там пишет-то Тамарке? Откуда?

И Зина опомнилась, опустила руки, спрятала волнующий адрес.

– Тамаре пишут, не нам.

Вошла в Тамарину комнату, сунула бумагу под матрас, дотронулась до пакета с остальными письмами и отдернула пальцы, словно обожглась не своей, запретной жизнью. Приказала себе не проникать в нее, заперла дверь на замок и так бы и забыла о мешке под матрасом, если бы врачи, которые в первые недели после трагедии еще осмеливались строить утешительные прогнозы относительно будущего Тамары, не велели Зине наполнять существование подруги изобилием положительных эмоций. Наложенное вето было моментально снято, комната вскрыта, письма прочитаны, прочитаны вслух ничего не слышащей и ни на что не реагирующей Тамаре. Зина погрузилась в чужие эмоции: она ловила чужое настроение, сопереживала чужим чувствам, восхищалась посвященными не ей стихами и, лишь дойдя до дежурных вопросов, которыми принято заканчивать любую личную переписку, лишь произнеся лаконичное и зачастую ни к чему не обязывающее «Пиши!», осознала, что в процессе обмена информацией обычно участвуют две стороны. Письма продолжали приходить, Зина уже читала их, не задумываясь, отмечая, что с каждым следующим посланием человек, не получающий ответа, становится все более одиноким, потерянным, раздавленным. Незатейливое «Пиши!», звучавшее в ее ушах тонкими, высокими, исполненными надеждами вариациями флейты-пикколо, провальсировало через все октавы фортепьяно и теперь с маленьких бумажных клеточек трубило чернилами низким, тяжелым, отчаянным басом контрафагота. Бесконечные вопросы забытого, брошенного человека вереницей кружились в Зининой голове, не давали спать, есть, и главное, – работать. «Куда ты пропала?» – вдруг вспоминала она, и нити основы соскакивали с направляющего валика. «Почему не отвечаешь?» – молнией выстреливало в голове, и батан начинал отставать от возвратно-поступательных движений берда[4]. «Отзовись!» – умолял протяжным органным воплем далекий незнакомец, и стоящий рядом бригадир подскакивал, выхватывал куски испорченной материи и отчаянно ругался, не выбирая выражений. Он жестикулировал, менял обертоны, сбивался с фальцета на тенор, начинал вибрировать странным, почти женским сопрано и напоминал Зине оркестр без дирижера. В другое время она бы обязательно улыбнулась собственной метафоре, но теперь только хмурилась, кусала губы и чуть не плакала, будто это ее саму держали в казематах и мучили невыносимым молчанием, кормили неизвестностью.

И Зина не выдерживает, берет ручку:

«Уважаемый Михаил Абрамович...»

Нет. Сухо, казенно, бездушно.

«Дорогой Михаил Абрамович, пишет вам соседка...»

Опять не то. Десять классов – чудовищно мало для такого сложного сочинения.

«Михаил Абрамович, здравствуйте. К сожалению, я должна сообщить вам...»

Взгляд падает на строки последнего полученного письма: «...надеюсь, моя хорошая, у тебя все в порядке. О дурном и думать не хочу. Ты и Маруся – вот и все, что позволяет мне не сломаться, держаться мужественно, сносить все тяготы здешнего существования и ждать, ждать встречи с вами, мои любимые девочки. Отзовись, Томочка! Я умираю, когда не слышу твой голос». Зинка вздыхает – ей еще не приходилось умирать от любовной лихорадки, а у автора этих строк скоро начнется агония, и в ее власти принять решение: облегчить душу, «убить» человека или избавить его от терзаний хотя бы на некоторое время.

[4] Рабочие части ткацкого станка.

– Тамара поправится и поблагодарит меня, – делает себе Зинка последнее внушение, подводя жирную черту под вязкой массой сомнений. Она берет чистый лист и старательно выводит округлым Тамариным почерком:

«Здравствуй, Мишенька! Прости за долгое молчание...»

Переписка снова обретает регулярность, соседи не обращают внимания на приходящие Тамаре послания, только Фрося, которой, как обычно, больше всех надо, не выдерживает однажды, удивляется:

– И чего писать в пустоту?

Зина не обращает внимания, торопится укрыться с конвертом в Тамариной комнате и не слышит, как, глядя ей вслед, вышедшая из кухни Антонина Степановна задумчиво произносит:

– Раз пишут – значит, отвечают.

10

Москва встречает Алину привычным камерунским дождем. Небо хмурится и плачет, будто не может смириться с ее возвращением.

– Я и сама не знаю, радоваться мне или огорчаться, – бросает Алина запотевшему окну и ловит удивленный взгляд водителя такси. Его странноватая пассажирка на вопросы отвечает односложно, понятия не имеет о грядущей деноминации, о шунтировании, сделанном Ельцину, и о том, что недавнее шоу французского композитора на Ленинских горах, которые теперь называются Воробьевыми, собрало три миллиона зрителей. Девушка машет рукой Кремлю, улыбается остаткам Китай-города и общению с человеком предпочитает разговор с окном.

– Эх! Прилетели бы на пару недель пораньше, не пожалели бы. Ох, и гуляла Москва! Ну а как же? Юбилей же. Восемьсот пятьдесят – это, скажу я вам, срок, а? А вы откуда прибыли-то?

– Из Штатов, – не отвечать – невежливо.

– Тю-ю-ю, ну куда им до нас, родимых! Расти и расти. – Шофер доволен своей шуткой, но, не дождавшись реакции, включает магнитолу погромче и замолкает ненадолго.

Машина въезжает в Замоскворечье, Алина провожает взглядом шатровую колокольню церкви Святой Софии и просит остановиться возле старого дома, что давно нуждается в реконструкции.

– Н-да! И это центр столицы, – сокрушается водитель.

– ...

– Подумать только! Всего в двух шагах от Балчуга! А мне-то казалось, все подчистили к празднествам.

– ...

– Но вы не расстраивайтесь! Помаленьку и здесь все поправят. Вон Ордынка уже в леса оделась, на Пятницкой кое-что реставрируют, так что, даст бог...

– ...

– Вы выходить-то будете?

– ...

– Выходить, говорю, будете?

– Что? А... Нет. Знаете, нет. Я просто... В общем, это так, не обращайте внимания, – Алина с трудом отрывает взгляд от светящихся окон на втором этаже. – Поедем дальше, – она диктует адрес и в последний раз оборачивается к знакомому дому. «Что со мной? Приступ романтизма? Что за блажь – торчать здесь и пялиться на окна? Там давно живут чужие люди. Говорят, людям свойственна ностальгия, они любят возвращаться туда, где были счастливы. Это справедливо. Но меня тут счастьем никто не кормил, я всегда хотела сбежать отсюда». Девушка качает головой, будто пытается избавиться от охватившего ее наваждения старого дома.

Машина мчится по освещенному огнями Ленинскому проспекту: еще не выключенная праздничная иллюминация, вымытые фасады домов, бомж в телогрейке, спящий под рекламным щитом магазина дубленок. Алина расстегивает небольшую матерчатую сумку, которую бережно держит на коленях всю дорогу, вынимает оттуда свою драгоценность – годовалый Nicon F5, большую скорость и высокую точность, лучшего друга профессионального фотографа. Девушка делает несколько снимков – лучшая отговорка для тех, кто сомневается в пользе ее скоропалительного замужества. Если основная цель ее отъезда в Америку так и осталась нереализованной, то второстепенная, о которой она даже и не задумывалась четыре года назад, когда, стоя в Савеловском загсе, ставила подпись под своей новой фамилией, оказалась неожиданно легко достигнутой. Алина всегда с трудом запоминала стихи, мелодии, сюжеты

спектаклей, но могла в деталях описать мизансцены, костюмы персонажей, поворот головы и движение кисти героини, с упоением рассказывала о сочетании цвета черного смокинга музыканта и белого рояля на сцене зала Чайковского. Она не фокусировала внимание на словах, ей хватало молчания, она слушала позы и жесты, ловила взгляды, восхищалась мимикой. Она не гналась за вечностью, ее прельщало мгновение.

– ВГИК, режиссура, – отдала приказание бабушка, разглядев во внучке талант к выстраиванию композиции.

Бабушку в семье всегда уважали, даже отец позволил себе шипеть на Алину: «Режиссерский, ты слышишь? Говорят тебе: режиссерский!» Алина была отщепенцем. Она не послушалась: поступила на операторский, проучилась или, вернее, промучилась год, сессию завалила и уехала в Америку осуществлять далеко идущие планы.

Глобальный, стратегический план, как известно, рухнул, зато операционный не пропал зря. Неудачное, скоропалительное замужество принесло все же свою пользу. Муж, хоть и относился к типу занудного, домашнего тирана, не слишком ограничивал Алину в выборе занятия для души. Конечно, ни о каком отъезде в Йель или в Принстон или о каждодневной работе и речи быть не могло, но какие-то безобидные курсы кройки и шитья, или кулинарного искусства, или дизайна собственного сада были вполне позволительны. Алина записалась на курсы фотографии, окончила их, получив рекомендации и два предложения о работе в профессиональных студиях, от которых вынуждена была отказаться (тогда она еще хотела оставаться в Америке, чтобы в редких разговорах по телефону слушать о том, как ей повезло и как та, другая, мечтает оказаться на ее месте). Иногда Алина отправляла особенно удачные снимки в журналы, некоторые из них эти фотографии публиковали и даже исправно отчисляли гонорары, капающие на тайком открытый отдельный счет, что позволил ей не только продержаться какое-то время между разводом и бегством в Корпус мира, но и приобрести мечту любого профи: фотоаппарат, который она сейчас держала в руках.

Такси сворачивает с Ленинского, пересекает проспект Вернадского и уже подъезжает к Раменкам. Алина зачехляет объектив, показывает водителю въезд во двор. Она дома.

В квартире пахнет плесенью. Алина бросается к окну, распахивает его и подставляет голову под жесткие водяные струи, пытаясь смыть приступ охватившего ее удушья. Дождь стекает за воротник водолазки, на плечи, на подоконник, на пол. Не обращая внимания на образовавшуюся вокруг нее лужицу, девушка возвращается в коридор, оставляя на ковре грязные, мокрые следы. Алина вытаскивает из чемодана маленький сверток и объемистый конверт, зажигает свет в своей кухне. Одна из трех лампочек простенькой люстры тревожно мигает, жужжит и, наконец, гаснет навечно. Чертыхнувшись, девушка привычным движением ставит на плиту ковш вместо чайника (электрический сгорел еще в прошлом веке, а новый она приобрести не удосужилась), забирается с ногами на диван, открывает конверт, рассыпает по столу снимки, внимательно изучает, всматривается в лица изображенных людей, в протянутые к миссионерам руки, в презрительные взгляды и робкие улыбки. На одной фотографии Алина задерживается особенно долго. На ней африканка. Она стоит в толпе, во взгляде растерянность. Чтобы получить воду, женщина должна протянуть руку, но она не может: обе руки заняты. На одной беззаботно спит младенец, а другая прижимает к себе девочку лет пяти. Женщина рискует остаться без «добычи», но она не может решиться, она не в состоянии сделать выбор, она не желает отрывать от себя ни на мгновение ни одного из своих детей. Алина разворачивает сверток, вынимает статуэтку, напоминающую сюжет фотографии: на плечи стройной темнокожей женщины наброшен яркий, оранжевый халат, из-под каждой полы которого выглядывают курчавые девичьи головы – одна поменьше, другая побольше. Женские руки, увенчанные бесчисленным количеством браслетов, безмятежно покоятся на гипсовых кудрях, лаская детей и одновременно оберегая их от всех жизненных невзгод. Алина бережно поднимает африканку и возвращается с ней в комнату. Ищет ей место на полках, сплошь уставленных подобными

фигурками. Здесь и лошадь, склонившая голову к лежащему возле нее жеребенку, и волчица, защищающая грозным оскалом спрятавшихся за ней волчат, и львица, изгоняющая льва, дабы уберечь потомство, и одинокий, потерянный олененок, прозванный Алиной Бэмби, и отвернувшаяся от него кукушка, – звери и птицы, объединенные общими сюжетами продолжения рода, любви и материнской заботы. Люди на полке появляются впервые, и, устанавливая статуэтку между пингвином, несущим рыбу пингвиненку и медведицей, подталкивающей медвежонка к стволу сосны, Алина чувствует, что ее коллекция обретает новое качество. Девушка ощущает, что теперь то, что долгие годы росло и культивировалось только в ее душе, достигло сейчас невероятных размеров, стало настолько огромным, что желает быть выставленным на всеобщее обозрение хотя бы на этих полках, фигурки на которых на самом деле никто пристально не рассматривает и не задумывается об их истинном и вполне очевидном значении.

Алина отходит на несколько шагов, удовлетворенно рассматривает экспозицию: оформлять интерьеры у нее всегда получалось неплохо. Хотя почему неплохо? Хорошо, очень хорошо, настолько хорошо, что даже американский муж, бывало, хвалил ее за умение создать уют из ничего. Здесь, в однокомнатной московской квартире, доставшейся ей путем хитроумных разъездов, съездов, обменов и доплат одновременно, тоже было ничего, точнее – ничего не было. А что, собственно говоря, могло понадобиться восемнадцатилетней девушке, кроме шкафа для хранения нарядов, стола для приема гостей и кровати для приема тех же гостей, коих насчитывалось совсем немного, но достаточно для того, чтобы это стало краеугольным камнем в основе претензий мужа к Алине.

«Вместо кровати придется купить раскладное кресло, – мелькает у нее мысль, – иначе негде будет расположить лампы. Да, правильно. Свет я поставлю именно в этом месте, здесь и ракурс удачный, и окно не всегда занавешивать придется». Девушка поднимает взгляд на старинную люстру с бронзовыми ангелочками, сложенные руки которых служат своеобразными плафонами для лампочек, напоминающих свечи. Жаль, от единственного раритета, доставшегося ей из прошлой жизни, придется избавиться. Верхний свет в фотостудии должен рассредоточиваться, нужно будет нанимать бригаду, делать натяжные потолки со встроенными рядами маленьких светильников. Шторы. Шторы хорошие: тяжелые, темные, подобранные специально к люстре. Нет, шторы – что надо. Пожалуй, можно оставить.

Шипение на кухне напоминает о том, что вода в ковше практически выкипела, Алина собирается выйти из комнаты, но ее внимание привлекает мигающий на телефоне автоответчик. Девушка подходит к аппарату: пять сообщений за четыре года – тоже результат. Она включает кассету, но первые же слова заставляют ее скривиться. Усилием воли Алина заставляет себя не останавливать пленку, уходит на кухню, наливает чай, краем уха все же улавливая практически одинаковые тексты:

– Здравствуйте, беспокоит журнал «Культура», надеемся, вы сможете найти время...

– Добрый день, журнал «Музыка и время», нам бы хотелось взять у вас интервью о...

– Беспокоит газета «Культурная жизнь», хотелось бы обсудить возможность публикации...

– Здравствуйте, меня зовут Владислав Гальперин. Я... Впрочем, неважно. Мне очень нужно поговорить с вами. Пожалуйста, перезвоните по телефону...

Алина на кухне морщится: очередной журналист. Ловкий, правда, и сообразительный, по телефону ни слова о своих истинных намерениях, знает, видно, что, услышав об интервью и публикациях, она ни за что не согласится на встречу. Ладно, бог с ним. Когда они все звонили? Четыре года назад? Ясное дело, потом-то уже все пронюхали, что она уехала и соответственно не может служить надежным источником информации.

Пищит сигнал пятого сообщения. Кто-то звонил сегодня.

– Алечка, это папа! – Алина вздрагивает и бросается обратно в комнату, замирает в обманчивом ожидании. – Я слышал, вы встречались недавно. Как она? Здорова? Хорошо выглядит? Позвони, я волнуюсь.

Несколько секунд Алина смотрит на телефон в абсолютном бессилии. Отец не видел ее четыре года, но не удосужился хотя бы из вежливости поинтересоваться ее самочувствием и внешним видом. Дрожащими руками девушка хватает телефон и, швырнув его со всей силой в стену, разбивает вдребезги. Волна воздуха и звука, напоминающая голосовое вибрато, проносится по комнате и настигает полку со статуэтками: пингвин наклоняется, задевает рыбой африканку. Фигурка падает на пол, и Алина, вскрикнув от ужаса, наблюдает, как отколовшаяся голова одного из детей катится по ковру и исчезает под кроватью.

11

Славочка!

Много воды утекло с моего последнего письма. На работе загрузили практикой, так что снова пропадаю там с утра до вечера. Что касается моих научных изысканий, то дело потихоньку движется, хотя в настоящее время все еще ограничивается исключительно теоретическими исследованиями. Чрезвычайно сложно найти материал для подробного исследования. Нередко людей бывает проще убедить принять участие в каком-то эксперименте физического характера, связанного с испытанием медицинских препаратов или новых методов лечения, чем уверить в необходимости раскрыть свою душу для полного выздоровления. Еще сложнее найти того, кто сам способен признаться в том, что он – раб, заложник одной всепоглощающей страсти, что руководит им, как путеводная звезда. Хотя, признаюсь тебе честно, поисками такими я не занимаюсь. Можешь обвинить меня в бездействии и напрасном ожидании у моря погоды, но будешь права лишь в одном: я действительно жду. Жду, что и на моей улице случится праздник и нечто свыше пошлет мне встречу с героем или героиней, которая позволит мне наконец собрать материал для практической части диссертации.

Не могу описать тебе, милая, как несказанно расстраивает меня тот факт, что тема моя заявлена и сменить ее не представляется возможным. Если бы я могла это сделать, то, скорее всего, воспользовалась бы ситуацией и обратила свое внимание на исследование человеческой добродетели: где она зарождается и насколько далеко простираются ее границы. Ты, конечно, скажешь, что нет предела широким качествам души. Я могла бы с тобой согласиться. Благо пример этому рядом (я опять говорю о Зине). Но все же я склонна думать, что все мы подвержены внешним обстоятельствам и нельзя делать выводы о безграничности доброты, когда носитель ее не прожил и трети своей жизни. Кто знает, что ждет ее впереди, кто посмеет утверждать, что доброта и любовь к одним не затмит в ее сердце другие разумные чувства?

Предмет же ее любви – наша Манечка – действительно прекрасная девочка, заслуживающая всяческой похвалы и умиления. Никогда в жизни не встречала ребенка столь одаренного музыкально и по-настоящему заинтересованного в овладении искусством игры на инструменте. Она, конечно, еще мала, и бездумное пиликанье смычком по струнам нельзя пока назвать чем-то хоть сколько-нибудь напоминающим настоящее извлечение волшебных звуков, но и за ним уже вполне угадывается талант и большое будущее при его гармоничном развитии. Кстати, из-за этой постоянной «чарующей» музыки я и вынуждена снова постоянно скрываться на работе. Когда Зина разбила скрипку (помнишь, я тебе писала об этом несколько лет назад), многие (только не я) вздохнули с облегчением, радуясь исчезновению из квартиры ежедневных гамм и вариаций. В каком отчаянии пребывают они теперь! Какие слова произносят в адрес малышки, когда та берет в руки инструмент! И как буквально хором просят Зину сыграть саму, чтобы скрипка выводила услаждающие слух мелодии, а не пилила воем и

визгом натянутые, обнаженные нервы. Вся эта кутерьма заставляет меня улыбаться и только. Думаю, малышка подрастет, пойдет в музыкальную школу, и в квартире снова восстановится былой нейтралитет.

Время позднее, моя дорогая, пора мне завершать нашу беседу. Я живо представляю, как ты так же в сумерках будешь отвечать мне. Племянник мой, конечно, уже будет спать. Представить не могу, что он уже школьник. Знаю, ты качаешь головой и говоришь, что я должна чаще приезжать. Обещаю, милая: летом обязательно. Поцелуй его, скажи, что скоро каникулы и что тетка, которую он, наверное, уже плохо помнит, пойдет с ним на рыбалку. А не перевелись ли карпы в вашем дивном пруду?

Обнимаю тебя. Я.

12

Влад выгуливал собаку и не в первый раз думал о том, что пора бы уже наконец перебраться куда-то из центра города хотя бы ради Финча. Мохнатый ризеншнауцер будто услышал мысли хозяина, вынул морду из кучи сухих листьев и, тоскливо посмотрев на Влада, потрусил дальше по тротуару.

– Не разгуляться тебе, друг? Понимаю.

Гальперин знал, что когда-то давно, еще в допетровскую эпоху, этот старый район считался одним из самых зеленых в Москве. Скверы и сады были не только за кремлевской стеной, что возвышалась на противоположной стороне набережной, но и с этой стороны реки, где он два раза в день прогуливался со своим псом. Когда-то тут было огромное количество фруктовых деревьев и сто сорок четыре фонтана, объединенных названием Царицын Луг. Впрочем, это было давно. Государев сад выгорел еще в пожаре 1701 года, уцелела лишь Софийская церковь. Когда-нибудь в ней определенно возобновятся службы. Надо успеть переехать, иначе колокола будут будить его каждый день. Да, церковь – единственный старожил в округе, помнивший времена деревянной Москвы, единственный свидетель начала каменного строения и пришествия мануфактур, прекращения наводнений и постепенного превращения района из светского в купеческий.

Теперь от фабрик и складов практически ничего не осталось. Стоят особняки Харитоненко и Демидовых, выстраивается очередь в старинное здание, отданное властями английскому посольству, течет река, но былое величие, былая ценность зареченской территории все еще до конца не восстановилась. У Влада были знакомые в Москомархитектуре, которые утверждали, что все дома обязательно со временем будут отреставрированы, правда, они не рассказывали о том, что большинство из них перестанет быть жилыми: их продадут богатым компаниям, которые и возьмут на себя обязательства по благообразию вверенных им фасадов и внутренних перекрытий. Влад даже слышал, что существует проект о переносе английского посольства на Смоленскую набережную, но эта информация лишь неуловимо витала в воздухе и напоминала обычные пустые слухи. Как бы там ни было, но центр Москвы наверняка постараются привести в порядок: в конце концов, какая-нибудь из заезжих звезд вполне может изъявить желание прокатиться, а то и пройтись не к Васильевскому спуску через Москворецкий мост, а в другую сторону от Балчуга.

Гальперин свистнул собаке и повернул в обратном направлении.

В общем, через несколько лет, а может быть, десятилетий Замоскворечье при определенных усилиях приобретет статный внешний вид, но о прежнем существовании огромного сада забудут, скорее всего, навсегда. Вряд ли кому-то захочется избавляться от приумножающей капиталы недвижимости, чтобы засадить территорию фруктовыми деревьями. «...Как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят новую жизнь...» – неожиданно вспоминается Владу. Нет, оставаться здесь с Финчем настоящее преступление. Гулять негде. Ближайший сквер на Болотной площади, но там не очень жалуют собак, да и идти туда не слишком близко. Вечерами, как сейчас, еще можно прогуляться, а по утрам у Гальперина никогда нет времени. Конечно, можно попросить бывшую жену забрать собаку насовсем. Катерина, естественно, поломается, придумает тысячу и одно неудобство, которое ей придется переносить, приютив Финча, резюмирует свой обличающий монолог, обозвав Влада безответственным, но, в конце концов, согласится хотя бы для того, чтобы доставить радость сыну. Катерина-то согласится, а вот Финч вряд ли обрадуется. Он предан Гальперину, а Гальперин предан ему. Еще как предан. Вот и вчера из аэропорта, несмотря на усталость, помчался забирать собаку.

– Папка! – бросился к нему тринадцатилетний Димка, прижался, повис на шее.

Влад вручил ему пакет с подарками, торопливо купленными в последний момент. Хорошо хоть совсем не забыл о ребенке.

– Есть будешь? – прокричала из кухни бывшая жена. Интересно, теперь, когда он не хлюпик-аспирант, не подающий надежды молодой ученый, а солидный профессор, доктор психологии, теперь она не жалеет, что пять лет назад поторопилась и превратилась в бывшую? Впрочем, какая разница. Главное, об этом не жалеет сам Гальперин. Да и она, наверное, не испытывает разочарования. Живет же со своим режиссером. Как ушла к нему пять лет назад, так и живет. Он, правда, из нее не кинозвезду сделал, а домработницу, ну это, собственно говоря, их дело. Влада это не касается. А Димка? Ну что Димка? Взрослый уже пацан.

– Так будешь есть?

– Нет, я...

– За Финчем приехал? – Катерина выплыла в коридор, глянула презрительно, с укором.

– Да, в общем...

– Понятно! – Димка швырнул пакет с подарками на пол и исчез в своей комнате, хлопнув дверью.

Катерина, как ни странно, ничего не сказала, лишь головой качнула и тоже удалилась. Влад надел поводок на сошедшего с ума от радости Финча и вышел из квартиры подавленный и задумчивый. Надо все же уделять сыну побольше внимания, сходить, что ли, с ним на матч в выходные. Нет, не получится, в субботу он обещал коллеге проконсультировать нескольких пациентов, а в воскресенье Финча надо вести на плановый осмотр к ветеринару. И что же это получается? Неужели Катерина права: ему собака дороже сына? Бред какой-то.

Пес между тем не торопится, жадно и вдумчиво обнюхивает бамперы припаркованных автомобилей, делает свои пометки, обнаружив нечто, неведомое хозяину, облаивает оставленную дворником на тротуаре полную листьев тачку. Влад тоже не спешит. Он еще не оправился до конца от перелета. После Африки он неделю пробыл на симпозиуме в Нью-Йорке, поэтому сегодняшний доклад об определении лучшего возраста для профориентации и последующие прения он проспал и теперь, судя по всему, ему вновь предстояла долгая бессонная ночь. Долгая ночь в раздумьях о допущенной ошибке и собственной глупости. Может, стоит все это бросить? Может, он зря все затеял? В конце концов, его ведь никто не просил. Чего же он хотел? Инициатива, как известно, наказуема. Зачем надо было изображать из себя журналиста, зачем дразнить ее этими вопросами? Да, его подозрения подтвердились. Но что из этого? Разве он помог ей? Напротив, только обнажил ее чувства, снова заставил переживать. И как действовать дальше? Во-первых, он в Москве – она в Камеруне, но даже если он снова поедет туда и попытается рассказать ей обо всем откровенно, она просто не станет слушать, и будет совершенно права.

Влад вернулся домой, приготовил яичницу, съел ее с Финчем напополам, прошел в кабинет и снова несколько раз прослушал пленку. Что-то нашептывало ему, что лучше прекратить эту работу, не лезть туда, куда его не звали, не вмешиваться в то, во что его не просили вмешиваться, не стараться помочь тому, кто не молил о содействии.

– Не молил, – сокрушенно соглашается Гальперин со своими мыслями. – Не молил, но нуждался.

Влад, как и большинство людей, мог приврать самому себе, торжественно пообещать нечто невыполнимое, свято веря в то, что он все сделает и договоренность с самим собой ни за что не нарушит. Вот и теперь внутренний голос настойчиво предлагал ему заключить пакт о прекращении бестолковой и безрезультатной деятельности, неизвестно ради чего начатой и так ничем и не оконченной.

– Пока не оконченной, – спорит Влад, не сдается.

– Деловые отношения, – продолжает подстрекать его нечто из глубин души, – должны быть просты и понятны. Ты – одна сторона контракта, а где вторая? Лучше подпиши договор

со мной: ты прекращаешь глупые поиски, а я освобождаю в твоей голове место для настоящей научной работы.

– Это и есть научная работа.

– Врешь!

– Вру! – неожиданно признается Влад и понимает, что договориться с самим собой на этот раз не получится. Не получится не потому, что на пленке интереснейший материал для исследования, хотя это, безусловно, так, а исключительно из-за того, что, когда он слушает запись, его мысли то и дело перескакивают со слов и интонаций к облику девушки. И думает Гальперин отнюдь не о причинах ее воинственной речи и предпосылках враждебности, а о миниатюрной фигуре: узких бедрах, острых коленках, выпирающих ключицах; о непокорных, жестких завитках темных волос, которые выбились из конского хвоста и нервно вздрагивали при каждом новом выкрикиваемом ею «Уходите!», о грустных серых глазах, метавших молнии, и об имени, что еще неделю назад отчего-то представлялось ему заурядным, а теперь звучало в голове чистым колокольным переливом, которым когда-нибудь о бязательно зазвонит колокол церкви Святой Софии.

– Пути Господни неисповедимы, – снова произносит Влад вслух, удивляясь внезапности так некстати охватившего его чувства. Он бы удивился дорогам судьбы еще больше, если бы только мог предположить, что вчера вечером та, что занимала все его мысли, смотрела из такси на окна его квартиры.

13

Семьдесят четвертый год оказался для Зины одним из самых насыщенных по количеству судьбоносных событий. Весной умерла Тамара. Умерла внезапно, тихо, ночью, во сне, как будто вдруг спохватилась и поняла, что просто устала лежать без движения и оставаться обузой для подруги, как будто захотела освободить Зину, отпустить ее, дать вздохнуть, распрямиться, пожить. Вслед за Тамарой желание помочь дочери неожиданно проявила Галина.

– Нашей девочке летом исполнится пять, – как-то сказала она. – Надо что-то делать.

– Что ты имеешь в виду? – Зина спрашивала, как всегда, мимоходом между станком, детским садом и плитой. Галина теперь готовила редко, пропадала за доставшейся им швейной машинкой, выдумывая наряды для Манечки, Зины и себя. Все же у концертмейстера должно быть хотя бы несколько платьев. Зина это увлечение матери не разделяла. Конечно, справить Маше новое пальто или брючки – дело хорошее, но зачем нужно тратить время и деньги на обновки для нее самой, если носить их, кроме как на работу, некуда, а туда жалко. Зина рассуждала и вела себя как опытная, сорокалетняя женщина и выглядела часто гораздо старше своего возраста, хотя ей едва исполнилось двадцать два. Она была измотана ежедневной дорогой в Измайлово на свою ткацкую фабрику, замучена заботами о болезненном ребенке и издергана постоянным ожиданием неминуемого возвращения диссидента, с которым по-прежнему поддерживала тайную переписку. Зина страшилась этого момента и страстно мечтала о нем. Она сама не могла точно определить, в какой момент она перестала выдумывать содержание писем, когда строки стали легко и свободно выстраиваться, когда она осознала, что пишет от себя лично, а не вместо Тамары, когда поняла, что говорит о своих чувствах, отвечая взаимностью на признания своего адресата.

Отцом девочки никто из обитателей квартиры уже не интересовался. Любопытство людей надо подогревать новыми жареными фактами. Одна и та же информация не может оставаться предметом живого обсуждения годами. Вот и на приходящие Тамаре письма внимание обращать перестали. Да, получает их Зина. Да, складывает куда-то, где-то хранит. Пусть хранит, потом Манечке отдаст. А о том, что Зина на письма отвечает, никому знать не нужно. Это личное.

Это личное занимает теперь все ее мысли, она постоянно витает в облаках, выполняя автоматически привычную работу, механически поддерживая разговор. Вот и тогда спросила мать, а ответа не слушала, продолжала про себя повторять: *«Неужели совсем скоро увижу тебя снова? Не верю. Не верю. И жду-жду-жду».*

– И я жду.

– Чего ты ждешь, Зина? Чего тут ждать? Надо действовать, не терять времени.

– Ты о чем, мам?

– Я все о том же, а ты, как всегда, о своем. Зиночка, послушай меня хоть раз внимательно, отвлекись от своих внутренних терзаний и посмотри в лицо реальности.

Про внутренние терзания верно подмечено, а остальное – полная ерунда. Как еще, интересно, можно назвать последние годы Зинкиной жизни, если не полнейшим проникновением в реальность? Может быть, скучнейшая работа на ткацкой фабрике, болезнь подруги, маленький ребенок, может, все это далекая от настоящей жизни романтика?

– Зинаида! Ты меня слушаешь?

– Да-да, мам, конечно.

– Так вот. Занятия музыкой – серьезное дело. Я не хочу снова обжечься, поэтому намерена объявить Манино будущее делом всей своей жизни, за которое намерена бороться начиная с завтрашнего дня.

– Мама, к чему этот пафос? Ты что, на войне? Зачем бороться? С кем? Ты, вообще, о чем?

– Я о том, что у девочки талант. С этим, я надеюсь, ты спорить не собираешься?

– Нет, конечно. Только главное в жизни здоровье. С этим, надеюсь, спорить не станешь ты.

– Я знала, что ты это скажешь. Сейчас добавишь, что ты решила отдать ее на каток, что надо избавляться от постоянных бронхитов, а потом уже думать об остальном. Правильно?

– Правильно.

– Вот! – отчего-то торжествует Галина. – А потом может оказаться поздно. Думать, моя дорогая, нужно обо всем и сразу.

– Мама, не ходи вокруг да около. Говори прямо, что ты предлагаешь.

– Я ничего не предлагаю, Зиночка, – торжественно объявляет Галина. – Я уже все решила.

Зина настораживается. Обычно пафос в голосе матери не предвещает ничего хорошего и заканчивается очередным скандалом. Галина держит театральную паузу, выработанную многолетней работой ведущей музыкальных мероприятий. Она таинственно растягивает слова и не спешит заканчивать фразы, чтобы публика успела ощутить всю неповторимость и величественность момента прежде, чем прозвучат первые аккорды. Вот и Зине следует запастись терпением, настроиться и приготовиться держать удар. Мать ждет. Она похожа на боярыню Морозову с картины Сурикова. Такая же важная, надменная, непоколебимая и несгибаемая, всем своим видом показывающая, что будет бороться за свои убеждения и не отступит ни перед чем, чего бы ей это ни стоило. Зине всегда тяжело спорить с матерью. Галина выше дочери, крупнее, красивее. Она – статная, спина у нее прямая, а шея длинная. По сравнению с Зиной-воробушком Галина – чайка. «Точно, чайка, – думает Зинка, глядя на мать, – кружит надо мной, присматривается и раздумывает, в какой момент лучше клюнуть, чтобы не упустить добычу».

– Не тяни, мам, – в голосе обреченность и заранее навалившаяся усталость.

– Хорошо, изволь. Я записала Машу в музыкальную школу.

– Куда?! Ей всего пять.

– Туда, ты слышала, Зинаида. И я прекрасно помню, сколько ей лет. А еще я отлично вижу, что у девочки в отличие от тебя присутствуют и талант, и желание взять в руки скрипку. И чем скорее это произойдет, тем лучше. Я водила ее на прослушивание, и Машу с восторгом приняли, несмотря на малый возраст. Надо пользоваться этим, пока у ребенка не пропала охота.

– Мама, ты уже обожглась один раз, но так ничего и не поняла. Невозможно вырастить гения против желания, а вот талант, подгоняемый мечтой, имеет все шансы дорасти до гениальности. Если Мане наскучит это занятие, ты ничего не сможешь с этим сделать, да я и не позволю тебе. А если музыка – ее судьба, если она будет продолжать жить и дышать мелодиями, то через несколько лет она сама попросит, чтобы ее учили играть. Ты вспомни Паганини. Как истязал его отец, какие варварские наказания применял за неправильно сыгранную ноту или неверно взятый аккорд. Да, у любого нормального человека такое насилие не вызвало бы ничего, кроме непреодолимого отвращения к инструменту, но с ним этого не случилось. Он влюбился в скрипку, как только услышал ее звучание, и все остальное перестало иметь для него какое-либо значение. Так что если Маша захочет играть, она сама об этом скажет. Разве не так?

– Все так, Зиночка, все так. – В глазах матери неожиданно загораются лукавые огоньки. – Только она уже сказала.

– Когда сказала?! Кому?!

– ...

– Тебе?! Но почему?

– В смысле, почему не тебе? Потому что ты будто помешалась на своем катке и на разговорах о грядущей борьбе с бронхитами.

– Мама, но ведь у Маши действительно слабое горло, а каток – наилучшее средство для закаливания. Я устала уже отпрашиваться с работы и просить Фросю долечивать Машкины

простуды. И вообще, этот спор ни о чем, мама. Если на каток я могла бы успевать водить ее до работы, то о музыкальной школе и речи быть не может. Подрастет, сама сможет ходить и тогда...

– Зина, сколько мне лет?

Зина осекается и в недоумении смотрит на мать.

– Ты о чем?

– Я о своем возрасте, милая. Мне – пятьдесят восемь, и я собираюсь на пенсию, чтобы заниматься воспитанием и образованием Мани.

– Но...

– Но и не только для этого. О твоем воспитании, конечно, думать уже поздно, а вот об образовании все еще необходимо. Ты завтра же... Слышишь? Завтра же напишешь заявление об уходе с этой своей работы. Я договорилась, тебя возьмут в Дом культуры. Не на мое место, конечно. Пока помощником администратора. Но с одним условием: ты поступаешь на вечерний. Иди, куда хочешь. Не нравится играть, выбирай теорию музыки или искусствоведческий, или культурологический. Только учись. А в свободное время займись наконец собой. Ты похожа на старуху.

– ...

– Не смотри на меня так. Это правда. К тому же у меня, собственно говоря, все. Таков мой план. И он, по-моему, прекрасный.

– Прекрасный. Твоя пенсия и моя зарплата помощника администратора Дома культуры – это гораздо меньше, чем заработки концертмейстера с ткачихой пятого разряда, тебе не кажется?

– Ничего, справимся. Может, Валера поможет.

– Валера? – Зина не сдерживает иронии. После того, как жена восемь лет назад увезла брата из московской коммуналки в просторную кубанскую хату своих родителей, вести от него приходили редко, а те, что приходили, умещались на открытках с розами для матери и с зайчиками для сестры.

– Ладно. И без Валеры обойдемся. Главное, – забудь о фабрике, Зина. Пора закончить этот нелепый подростковый бунт.

И Зинка закончила, бунтовать перестала, поступила на театроведческий, освоилась в Доме культуры. И сама как-то выправилась, похорошела, распрямилась, стала носить каблуки, останавливаться перед зеркалом, красить глаза и губы.

За одной из таких остановок и застал ее Михаил Абрамович Фельдман. У Зины навсегда сохранились в памяти мельчайшие детали этого мгновения. Вот она стоит в коридоре у зеркала, не думая ни о чем, кроме как о цвете помады, который выбрать. Вот слышит два требовательных звонка, означающих, что пришли к Тамаре. Вот кричит: «Откройте, теть Фрось!», нисколько не интересуясь тем, кто может оказаться за дверью. И как это только сердечко не екнуло, не защемило? Вот водит по губам с нежно-сиреневым содержимым тюбика, видит свое отражение, Фросю, воинственно застывшую в дверях, и возвышающегося над ней мужчину. У него старая, поношенная одежда, стоптанные ботинки и благородная, даже красивая внешность: тонкое, вытянутое лицо с острыми скулами, большие, чуть навыкате глаза, низкие, густые брови, высокий лоб, чуть длинноватый нос и узкие, но четко очерченные губы. «Белинский»[5], – решает про себя Зинка, но и при этом сознание ее не озаряется и толикой догадки. Мужчина что-то говорит Фросе. Зина не слышит. Она только видит, как дворничиха отступает и в нерешительности оборачивается. И тут Зина понимает. Помада чиркает сиреневой дугой по щеке и падает на пол, а за ней падает на пол без чувств и сама Зинаида.

[5] Белинский Виссарион Григорьевич (1811 – 1848) – русский литературный критик.

14

Алина наконец-то была практически счастлива. За два года, прошедших с момента ее возвращения в Москву, ей удалось добиться некоторых успехов. Конечно, на персональную фотостудию ей еще работать и работать, но все-таки ей удалось переместить рабочий кабинет из собственной квартиры. Сейчас то подвальное помещение, что снимала она вместе с еще двумя такими же непризнанными гениями, правда, мужского пола, позволяло ей изготавливать недорогие, но качественные портфолио для начинающих моделей, танцовщиц, детишек, чьи мамаши были одержимы славой, и всех-всех-всех, кто обладал желанием и некоторой суммой денег. На фотографиях всегда стояла фамилия автора, что давало надежду с оптимизмом смотреть в будущее. Если изображения очередной нимфетки придутся по душе в каком-нибудь крупном агентстве, то, возможно, корифеи модельного бизнеса заинтересуются и именем фотографа. Нет, Алина не мечтала увидеть свои работы на обложке «Vogue» или «Cosmopolitan», но, если бы они попали туда, она смогла бы позволить себе тратить чуть больше времени на то, что на самом деле приносило ей удовольствие. А пока портреты занимали все ее время. Это было невероятно скучно, но необходимо. Надо было кормить себя, попугая и Шурика.

Шурик... Он появился в студии год назад. «Жлоб!» – решила тогда Алина, мельком взглянув на длинные густые распущенные волосы, кожаные обтягивающие штаны, короткую куртку с бахромой по всей длине рукавов и дешевые перстни на обоих безымянных пальцах. Жлоб подошел к ней почти вплотную и, обдав приторно-сладким запахом парфюма, промяукал в самое ухо:

– Мне бы портфолио.

Алина отстранилась, не скрывая брезгливой гримасы, махнула головой на ширму:

– Переодевайтесь, если надо.

Посетитель, ухмыляясь, снова придвинулся и издевательски прошептал:

– Мне бы фотографа.

– Это я.

– Ты-ы-ы? – так откровенно и без тени смущения удивился хам, что девушка невольно залилась краской.

– Не нравится? До свидания, – презрительно процедила она.

– Нравится, нравится. Очень нравится. И тебе понравится, – отчего-то засмеялся он и отправился за ширму.

– Сколько снимков? – Алина устанавливает отражатели.

– Штук пять-шесть, только с разным фоном.

– Еще и фон подавай, – бухтит она, вынимает соты с фонами, пробует то один, то другой, играет со светом, поднимает голову и едва успевает схватить падающий зонт, к которому она прислонилась от неожиданности увиденного. Перед ней стоит идеальная груда мышц, наготу которой прикрывают три ярко-красные полоски. Конечно, ей доводилось снимать мужчин-моделей, но ни один из них не проявлял желания обнажаться в начале творческого процесса. Идиот. Или не модель.

– Ты мальчик по вызову, что ли? – девушке совершенно не хочется бороться за такого клиента.

– Дура. Я – стриптизер.

В его голосе столько гнева и обиды, что Алина решает проглотить оскорбление и, жестом пригласив мужчину на подиум, начинает отдавать привычные команды:

– Двигайся.

– Не застывай, пока я не скажу.

– Еще.

– Работай лицом, а не только...

– Волосы откинь.

– Убери ухмылку.

– Так, держи позу.

– Еще.

– Молодец.

– Все. Стоп. Снято.

Он одевался, Алина отбирала снимки. Посмотрела на него, вышедшего из-за ширмы: такого наглого, самодовольного, не удержалась – бросила:

– И что только заставляет мужиков идти в стриптизеры?

– Поживи в интернате, тогда узнаешь, – и все его бахвальство вмиг улетучилось.

– Ты жил в интернате?

– А тебе-то что? Ты, чай, не сирота. Ты не мечтала о том, что когда-нибудь тебя полюбят, ты не жаждала внимания, восхищения. Выросла небось на всем готовеньком за спиной родителей и только и можешь, что презирать таких, как я.

Алина не думала о том, что не все такие, как он, становятся стриптизерами. Она вообще ни о чем не думала. Она лишь слышала его слова, которые гулким эхом отзывались в ее сердце. Она ловила фразы, которые он говорил о себе, и знала, что это все о ней. Алина не любила ходить по студии перед клиентами, но тогда она встала со своего стула и молча продефилировала до подиума и обратно, чуть припадая на одну ногу. Остановилась перед ним, взглянула в глаза и прошептала надрывно:

– Если б ты только знал...

Шурик переехал к ней через два дня. Работу в клубе оставил. «Ты ведь не против, малыш?» Искал себя, но не нашел ни в фитнес-клубе, ни в школе танцев, ни в обычной школе в роли учителя физкультуры. Обрел покой на диване, озадачив Алину просьбой «добиться наконец известности», чтобы пристроить его ни много ни мало в «Тодес»[6], поскольку остальные «конторы оказались мелковаты для масштаба его одаренности». «Хорошо, что на Большой театр не замахнулся», – подумала тогда Алина, но спорить не стала. Они были одним целым. Разные, но похожие: обиженные жизнью, проклинающие судьбу люди.

С тех пор жизнь шла своим чередом: Алина пропадала в студии, Шурик – дома, иногда даже приподнимаясь с дивана, чтобы сходить в магазин или приготовить ужин. Случалось, Алине удавалось выкроить несколько свободных часов, и она вылезала из своего подвала и не плелась домой, прихрамывая и покачиваясь, а летела, практически не наступая на больную ногу. Летела туда, куда хотела: к небу и к траве, к солнцу и к тучам, к морозному утру и к влажному вечеру, к тротуарам, наводненным прохожими, и к пустынным переулкам, к девчушке, испуганно застывшей на светофоре, и к старушке, бездумно перебегающей гудящий проспект, – к натурным съемкам, к пейзажам, к секундам, к мгновениям.

Здесь Алина могла почувствовать себя свободной от технических особенностей процесса фотографии. По-гречески «фотография» означает «светопись», а возни с выстраиванием света ей хватало и в студии. На улицах она искала другого: ловила линии, выстраивала композиции, находила точки пересечения для усиления перспективы, впитывала и старалась воплотить на снимках эмоциональность и динамику сюжета. Алине нравилось, что на открытой местности предметы и лица теряли яркость и контрастность, удаляясь от объектива. Можно было «лениться»: не выставлять смазанный фон, не стараться приглушить краски заднего плана. То, что она хотела запечатлеть, оказывалось в необходимом фокусе и в нужном ракурсе почти все-

[6] Известный балет под руководством Аллы Духовой.

гда, когда она успевала поймать камерой ту секунду, которая и должна была, с ее точки зрения, длиться вечно. И ей это удавалось.

– Классные снимки! – оценил как-то один из коллег. – Давай я поговорю кое с кем, выставку тебе организуем.

– Давай, – загорелась тогда.

Выставка открылась в приблизительно таком же подвале, в каком размещалась их фотостудия. В первый день ее посетили два неформала и несколько местных жителей, а во второй Алина выставку закрыла, работы увезла и больше никому не показывала, решила, что размениваться не будет. Она не помнила, чтобы та, что по-прежнему не покидала все ее мысли, когда-либо играла на помойке. Конечно, та не сразу очутилась в Карнеги-холле, все постепенно, но площадки все же были не самыми плохими, а у Алины, следовательно, должны быть лучше.

Работы Алина теперь не хранила, тщательно отбирала, оставляла только самые выдающиеся. Их было немного. Было бы больше, если бы получалось выбираться из студии чаще. Не получалось, да и не хотелось. Слишком дорого обходилось ей это увлечение. Шурику можно было не говорить о том, где она была и чем занималась. Он все замечал по возбужденному взгляду, по рассеянно блуждающей полуулыбке, по любовно прижимаемому фотоаппарату. Смотрел на нее, сводил к переносице брови, качал головой, отворачивался к стенке на своем диване.

– Опять шлялась по улицам, а денежки в это время мимо плывут.

Говорил и замолкал. В первый раз замолчал на сутки, потом стал молчать дня по три, а в последний раз он не разговаривал с ней неделю. И Алина решила, что лучше пока наступить себе на горло, чем сводить общее существование к состоянию постоянной холодной войны. Почему она так решила? Она не знала. Она его любила? Нет. Никогда. Терпела? Да, наверное. Зачем? «Не знаю», – ответила бы она не раздумывая, абсолютно уверенная в том, что логичного объяснения нет и быть не может. Если бы все в этой жизни поддавалось разумным толкованиям, то жить было бы проще. Так считала Алина. Жизнь для нее никогда не была легкой, и усложнять ее, подвергая свою голову глубинному самоанализу, не хотелось. Хотя иногда, вслушиваясь по ночам в размеренное сопение Шурика, она неожиданно признавалась самой себе, что знает причины, по которым он все еще находится здесь. Точнее, причина была всего одна: присутствие мужчины возвышало Алину в собственных глазах, придавало значимости, заглушало все еще раздирающую ее ненависть. «Она старше меня на семь лет, а все еще не замужем», – мелькало неожиданно в голове. «Ну и что? – тут же вступала в спор с самой собой Алина. – Может, ей и не хочется». «Вздор! Она – обычная баба. Пусть гениальная, но обычная. Жизнь ее переполнена гениальным, а обычного в ней ни на грош. Зато во мне обыкновенного хоть отбавляй. Чем не повод признать за собой малюсенькую победу? Стоп. Что это за бред? При чем здесь она? Я ведь решила, что живу своей жизнью, и точка. Своей, а не чужой». Алина отчаянно боролась. Она гнала от себя нелепые мысли, но они возникали с пугающей периодичностью, и самым отвратительным было то, что в глубине души Алина понимала: именно они согревают ее и, в конце концов, убаюкивают бессонными ночами, именно они скрашивают существование, именно они позволяют быть практически счастливой. Точнее, позволяли. До сегодняшнего дня. До второй его половины.

Она ехала в лифте и отчаянно старалась избавиться от навязчивой мелодии, играющей в голове заезженной пластинкой уже несколько часов. «Листья желтые над городом...» Листья были и красные, и оранжевые, и бурые с коричневыми прожилками, кружились листья кленовые, березовые, липовые, кружились над столицей и в Алинином фотоаппарате: перелетали через гранитный парапет Москвы-реки, прилипали к мокрым от дождя столбам, свисали с зонтов, отражались в очках прохожих, сплетались в пушистые гирлянды на головах гуляющих в парках детей. «Унылая пора – очей очарованье» – это классик написал специально для Алины. Как будто знал, что осень на ее снимках будет самой живописной, самой красочной, самой

радостной и одновременно самой унылой, самой реалистичной и самой сказочной, обыденной и необыкновенной, веселой и грустной, – самой жизненной.

Листья все еще ложились с тихим шорохом Алине под ноги, когда она открывала дверь квартиры.

– И от осени не спрятаться, не скрыться, – спела она не удержавшись, успев подумать о том, что выдала себя, точнее, свою очередную вылазку, с потрохами. – Листья жел... – и оборвала себя, услышав голоса в глубине комнаты. Посетители у них не случались. Алина подруг не имела. Нет, когда-то в детстве они были, но растерялись из-за ее бегства в Америку. Старые связи Алина восстанавливать не стремилась и новыми обзаводиться не спешила. В общем, со своими друзьями она пока еще не познакомилась, а тех знакомых Шурика, которых знала, – терпеть не могла и домой приглашать не желала. Присутствие постороннего человека в квартире тут же заставило ее насторожиться. Голос, показавшийся Алине совершенно незнакомым, явно интересовался ее работами.

– Это тоже снимала ваша жена?

С чего бы это Шурику вздумалось жениться на ней? Решил пометить территорию, почувствовал конкуренцию? Алина стоит на пороге квартиры, не решаясь шевельнуться. Думает, какую фотографию сейчас рассматривает гость: темные, едва различимые в лунном свете крыши домов или блестящую на солнце гладь подмосковного озера?

– Какие выразительные руки!

– Да, – Шурик явно польщен. Хвалят его собственность. – Знаете, у фотографов принято называть выразительным глаз.

– Конечно. Но я имею в виду модель. Эти руки, прижимающие детей. Как точно они передают невозможность выбора, отсутствие приоритета.

Надо же. Гостю понравилась камерунка.

– Смотрите. Она держит их. Защищает от толпы, от мира. Это точное воплощение материнства. Я бы послал этот снимок на конкурс.

– Знаете, Алина теперь вроде как студийный фотограф.

Нет, это уж слишком. Девушка громко хлопает дверью.

– Линчик! – Шурик стремительно выбегает в коридор. – А мы тут тебя ждем. Где так задержалась?

– Снимала осень. – Алина вскидывает голову, сверкает глазами. Мужчина не замечает ее вызова, продолжает суетиться: разматывает на ней шарф, помогает снять куртку. Кажется, еще мгновение, и он падет ниц, бросится стягивать с нее сапоги. Да что с ним, в конце концов, такое? Ситуация, однако, быстро проясняется:

– Ручки, ручки помыть с улицы, – Шурик буквально силой заталкивает Алину в ванную, включает воду, достает из кармана визитку и возбужденно шепчет: – Он интересуется твоими работами.

«Гальперин Владислав Андреевич, руководитель научно-исследовательского центра «Полиграф», – читает девушка напечатанную информацию. Кажется где-то она уже слышала эту фамилию. Но где? Алина недоуменно пожимает плечами, закрывает кран. Шурик уже не обращает на нее внимания, распахивает дверь, кричит:

– Идем-идем!

Алина не торопится, останавливается в проеме комнаты, прислоняется к косяку, хотя могла бы пройти и дальше. Гость стоит спиной и не заметит пока ее хромоты. Мужчина – среднего роста, худощав, но не тощ и, скорее всего, довольно молод. Во всяком случае, седины на затылке не видно. Одет в голубые джинсы и темно-серый пиджак. К ровной линии волос на шее поднимается ворот черной водолазки. Алина бросает взгляд на Шурика и невольно морщится: за каких-то одиннадцать месяцев из подтянутого атлета он успел превратиться в одутловатого, неопрятного мужлана. Сальные волосы свисают на плечи спутанными патлами,

трехдневная щетина покрывает лицо, запятнанная майка – торс, а темно-синие пузыри штанов – колени. Он стоит посередине комнаты и отчаянно сигнализирует своей подруге вступить в разговор, не забыв прилепить на лицо соответствующую заискивающую улыбку. Гость не замечает происходящего, он все еще увлечен фотографией.

– Я сделала этот снимок в Камеруне, – спокойно сообщает Алина.

– Я догадался, – звучит незамедлительный ответ. Мужчина оборачивается, и безмятежность девушки тут же сменяется неподдельным гневом.

– Что вам здесь нужно? – Она узнала его. Тот самый корреспондент, уговоривший ее по телефону на интервью, приехавший в Африку, перевернувший душу. В общем, такой же, как все: скрывающий за своим притворным интересом к ее деятельности настоящий интерес к совершенно другой персоне. – Разве я не ясно выразилась при нашей последней встрече? Я могу повторить еще раз, и еще, и еще. – Алина почти кричит: – Уходите!

– Линчик, полегче! – Шурик растерян, глаза его бегают в ошарашенном любопытстве.

– Действительно, Алина, – «журналист» делает движение навстречу к ней, и девушка невольно отшатывается. – Ну, не горячитесь же! Я всего лишь привез вам ответ.

– Какой ответ?

– На письмо, которое вы мне вручили пару лет назад, помните?

– Да. Кажется, да. И что же? Вы его отправили?

– Конечно.

Никакого письма Гальперин никуда не посылал, оставил себе, периодически перечитывая и размышляя над тем, как устроить себе еще одну встречу с его автором. Ничего хоть сколько-нибудь разумного в голову не приходило. Бросать институт и разыскивать по всему свету девушку с ворохом проблем означало лишь присоединить к этому вороху кучу своих сложностей. Потом Владу предложили организовать центр, работа стала занимать еще больше времени, возникшие чувства, нет, не улеглись, просто отошли на второй план. Казались каким-то романтическим, надуманным бредом, не вяжущимся с образом доктора психологии. И хотя Алинин случай Гальперин все еще считал достойным глубочайшего анализа и тщательнейшего исследования, но поползновения свои помочь ей расценивал теперь как некий самоотверженный юношеский порыв, уступивший сейчас место зрелому пониманию: осчастливить человека против желания невозможно. Девушке нужна помощь, но попросить о ней она должна сама.

Влад искал в других насупленные брови и вздернутый нос, жаждал стремительности и порыва, восхищался упрямством и гордостью, ценил колючесть и ершистость. Отдельно этого хватало во многих женщинах, а всего и сразу в избытке он не находил ни в одной. Иногда какая-то промелькнувшая в толпе тень вдруг казалась ему знакомой: те же вздрагивающие жесткие колечки темных волос в конском хвосте, те же выпирающие ключицы, те же острые, непреклонные плечи. Он оборачивался и сразу же понимал: нет, не она. Походка у проскользнувшей видением девушки оказывалась безукоризненно прямой, а следовательно, – чужой, неинтересной, унимающей возникший было в груди трепет.

Так и ходил Гальперин, оборачиваясь, по Москве, в которой жил, по Европе, где выступал на конгрессах, по Америке, куда поехал выбирать оборудование для своего центра. В Нью-Йорке, правда, один раз не обернулся, замер как вкопанный на углу Седьмой и Пятьдесят седьмой улиц, словно прирос к месту и все никак не мог отвести глаз от плаката. «Впервые в Карнеги-холл...» Посмотрел на дату, на часы, ринулся в кассу. А потом сидел в партере и не мог себя заставить слушать скрипку, хотя классическую музыку всегда любил, и уж чего-чего, а записей именно этой скрипачки в его фонотеке было предостаточно. Но он не слушал, вертелся на месте под неодобрительные взгляды соседей, озирался, нелепо вытягивал шею, привставал с кресла, все выискивал, высматривал, словно продолжал настаивать на внезапно мелькнувшей у плаката мысли: «Она должна быть здесь». Но ее не было. Не оказалось ни в зале, ни за кулисами, куда он пробрался, сославшись на знакомство с маэстро.

– На самом деле вы меня, конечно, не знаете. Я – знакомый Алины.

– Алины? – удивилась и обрадовалась. – Так вы от нее? А я так хотела, чтобы она прилетела. Но у нее же, как всегда, тысяча отговорок. Но что с ней поделать, правда? Ну, любит девочка самостоятельность, пускай, – скрипачка тараторит без пауз с той же изумительной быстротой, с какой извлекает звуки из инструмента. – Ну, рассказывайте, рассказывайте, как она там?

– Нормально, – отчаянно хочется спросить: «Там – это где?»

– Да? Ну, слава богу! А то я беспокоюсь. Домой-то отправила, а может, зря? Может, надо было здесь оставить? У нее же тут публикации были. Я все думала, наверняка она в Африке что-то наснимала. У нее же талант, правда? Вы видели ее снимки? Простите, я нелепые вопросы задаю. Конечно, видели. Так что вы меня понимаете. Понимаете мои сомнения. Ну, что она теперь сидит в своей студии? Заперла себя в четырех стенах, когда ей просто показано, прописано пространство. – Женщина снимает с зеркала фотографию, протягивает Владу. – Вот, смотрите. Это моя любимая. Я с ней не расстаюсь. Я прошлой осенью была в Москве, она меня и сняла. Я так люблю эти места. А вы часто бываете в Замоскворечье? Знаете, что это за церковь?

– Святая София, – успевает вставить Гальперин. – Говорят, ее скоро откроют для служб.

– Правда? Здорово. Давно пора. На моей памяти от церкви там всегда был один только фасад. Что ж, внешности вернули душу. Счастье. Простите, что я так много говорю ни о чем. Просто это места моего детства.

«Я знаю», – чуть было не сорвалось у Влада, но он вовремя удержался. Хотя если бы и сказал, примадонна могла и не заметить его оплошности. Как и многие творческие люди, она слегка зациклена на себе, она увлечена, она в образе и торопится сказать то, что хочет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.